

*Константин*  
**ВОРОБЬЕВ**

*Вот пришел  
великан*



Константин Воробьев

**Вот пришел великан (сборник)**

«ЭКСМО»

## **Воробьев К. Д.**

Вот пришел великан (сборник) / К. Д. Воробьев — «Эксмо»,

К.Д. Воробьева называют «русским Хемингуэем», и споры вокруг его имени не утихают до сих пор. А он продолжает удивлять читателя искренностью и пронзительностью повествования, убежденностью авторской позиции, о чем бы ни писал: о войне, о любви, о трагедии русской деревни, пережившей коллективизацию, об утрате самой необходимости быть хозяином на родной земле.

© Воробьев К. Д.

© Эксмо

## Содержание

ЖИВОЙ	5
ПОЧЕМ В РАКИТНОМ РАДОСТИ	8
Конец ознакомительного фрагмента.	38

# Константин Дмитриевич Воробьев

## Вот пришел великан (сборник)

### ЖИВОЙ

В 2008 году на одном из сетевых форумов кипела бурная дискуссия о повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» (1963). Военные историки с потрясающим апломбом и пафосом ловили Воробьева, участника обороны Москвы в ноябре 1941 года, на вранье и некомпетентности. Сетевые историки вообще безапелляционные ребята. Им лучше очевидцев известно, как рота шла на фронт, чем была вооружена, как немцы выставляли боевое охранение и какой был звук у немецкого миномета. Они потрясают штатными расписаниями и ТТХ (тактико-техническими характеристиками) тогдашних вооружений. Суд над Воробьевым вершится скорый и единогласный: очернитель, а быть может, и провокатор! Как хотите, в шестьдесят третьем до такого не доходило. О неразберихе и катастрофических потерях первых месяцев войны тогда помнили. Даже официальная критика, топча «Убиты под Москвой» и «Крик», не упрекала Воробьева во лжи – а ведь живы были миллионы очевидцев. Больше того: фронтовики мгновенно опознали беспримесную правду во всех военных сочинениях Воробьева, как впоследствии те, кто уцелел в плену, увидели такую же мучительную достоверность в первом его сочинении – «Это мы, Господи!». Некоторые теперь, на тех же форумах, сомневаются: как мог Воробьев сразу после побега, отсидевшись на чердаке, за месяц написать повесть о плене? Ему что, делать больше было нечего? Но в одном из лучших его автобиографических рассказов «Картины души» описана страшная, уже послевоенная, угроза безвестной гибели: художнику, тонущему в бурю посреди озера, страшнее всего, что никто ничего не узнает. И, видя случайного шофера на берегу, он находит в себе силы, выгребает, спасает дырявую лодку и себя – а тут и спасительный плавучий островок. Воробьев был такой писатель – рассказать свое было ему необходимо физиологически. Ведь не узнают!

Эти упреки во лжи, вымысле, очернительстве, фактической и психологической недостоверности сопровождали тогда – и сопровождают ныне, в дни очередных массовых вспышек самодовольства и паранойи, – всю честную русскую литературу, начиная с Астафьева, который первым из собратьев оценил Воробьева, и кончая Окуджавой, постоянно выслушивавшего от высокопоставленных военных, что «такого на фронте не было». На фронте было все, включая такое, чего не выдумает никакое очернительское воображение, – но только слепоглухой и деревянный не почувствует той абсолютной подлинности, которая у Воробьева в каждой детали; не ощутит узнаваемости состояния – поверх визуальных и разговорных мелочей, которых тоже не выдумаешь; не увидит сновидческой точности картин боя, отступления, курсантских похорон – это много раз было увидено в подробных кошмарах, прежде чем записано. Воробьев умер в 1975 году от опухоли мозга, частого последствия фронтовой контузии; но и теперь одно животное, не найду другого слова, в Интернете усомнилось – что это его переводили из лагеря в лагерь, недострелили сразу, после первого побега? Может, он был у немцев осведомителем – их же берегли?

Уж подлинно советская власть, со всеми своими орудиями растления, не растлила Россию так, как двадцать лет безвременья, после которых никто не верит ничему.

Но потом думаешь: вот, 90 лет со дня рождения исполнилось 24 сентября 2009 года, – а насколько живее всех живых! Истинная мера бессмертия – ненависть. Кто сейчас ненавидит Бубеннова, Бабаевского, Симонова – простите, что поставил настоящего писателя рядом с титанами соцреализма? Даже Трифонова для приличия хвалят, хотя втайне, конечно, чувствуют классово-чуждость. А Окуджава, Воробьев, Астафьев, Василь Быков, Солженицын – сплошь

очернители и прихвостни, вдобавок недостаточно повоевавшие. Чистая логика военкомов: те, кто пишут правду о войне, кому плохо на ней, – плохие солдаты.

Ребята, это же бессмертие! Вот так оно выглядит, а вы как себе представляли? Это же кем надо быть, чтобы в авторе нежнейших и мощнейших текстов в русской послевоенной прозе, в создателе «Моего друга Момича», «Крика», «Великана» – увидеть потенциально возможного осведомителя и вруна?! Ведь в текстах Воробьева каждое слово кричит о человечности, о достоинстве, о силе и милосердии, – но эти-то качества и неприемлемы для стратегов всех мастей. Им желательно видеть народ тупой массой, радостно ложающейся под серп; безгласным орудием для осуществления их глобальных бездарных замыслов. А потому Воробьев им – нож вострый, даже через 34 года после смерти. О чем бы он ни писал – о коллективизации, о фронте, о плене, о советском издательстве, о прибалтийском санатории, – он мгновенно вычисляет, люто ненавидит и прицельно изображает всех, кто может подняться только за счет чужого унижения. Всех трусливых демагогов, фарисеев, лицемеров, всех, кто ищет и жаждет доминирования, – тогда как герой Воробьева жаждет одного только понимания, и от этого понимания расцветает. Воробьев, может быть, и есть тот идеальный русский человек, каким он был задуман («Я не требовал наград, потому что был настоящим русским» – записные книжки, и ведь правда): рослый, сильный, выносливый красавец, рыбак, плотник, стрелок, партизан, писатель от Бога, с врожденным чувством слова. И такая жизнь – он словно притягивал громы, да и мог ли такой человек вызывать любовь у разнообразных упырей? Упыри ведь тоже обладают чутьем на талант и силу. Им невыносим Воробьев – с его изобразительной мощью, пластическим даром (вспомните описание церкви в «Момиче», портрет Маринки в «Крике»), с его влюбчивостью, избытком таланта, с вечной его вольной усмешечкой – как ненавязчиво и точно он шутит! Каким комизмом пронизан «Великан», самая мирная из его вещей, – но и ее топтали, даром что в ней-то никакого военного очернительства. Просто герои уж очень свободны – помню некоторый шок от чтения этой вещи в отрочестве, в старых дачных «Современниках». Я тогда хорошо запомнил Воробьева, и когда лет пятнадцать спустя познакомился с чудесным прозаиком и сценаристом Валерием Залотухой, в какой-то связи упомянул «Великана». «Любишь Воробьева?! – восхитился Залотуха. – Нас мало, но мы тайное общество!» Может быть, именно сочетание независимости и нежности – по крайней мере на уровне стремлений – объединяет всех этих людей, к которым так хочется причислить и себя.

Парадоксальную вещь сейчас скажу, но ничего сенсационного в ней, если вдуматься, нет: Воробьев был самым американским из русских писателей, странным сочетанием Хемингуэя и Капоте (Хемингуэя страстно любил, хотя не подражал, и дал ему самую точную характеристику: «Вы видели его последний снимок? С таким предсмертно-виноватым выражением? Как выдержать свое естественное поведение, если оно непонятно тому, другому? Приходится подлаживаться, и тогда на лице человека появляется вот такое хемингуэевское выражение...»). Хемингуэй чувствуется в военных его вещах, а явно не читанная (хотя кто знает?) «Луговая арфа» Капоте – в «Момиче», в образе тетки Егорихи, в авторском «мы», объединяющем тетку и полусумасшедшего Ивана... Дело, вероятно, в том, что Воробьев долго жил в Литве – против воли, ибо осел там после войны: здесь он воевал в партизанском отряде, потом работал в магазине, потом – в газете... а в Россию возвращаться было некуда. Близость Запада сказалась – Прибалтика была «дозволенной Европой»; здесь не так въелась в кровь рабская оглядка. Хотя и своего рабства хватало, и прорабатывали здесь Воробьева по полной программе. Может, идеальное русское и невозможно без прививки западного, без этого легчайшего налета независимости – эта примесь так видна у Пушкина, Толстого, Блока, у всех лучших наших, вот и у Воробьева, русского Хемингуэя, прожившего так трудно и мало.

Его пятитомник вышел в родном Курске год назад. Главную свою вещь – «...И всему роду твоему» – он не закончил, жилья и работы в Москве не получил, половину написанного

напечатанным не увидел, государственных наград, кроме грамот от военкомата за поездки в воинские части, не имел. В 2001 году Солженицын наградил его своей премией – посмертно.

Есть, однако, и в этой судьбе высшая логика. Захваленных и чтимых – забывают, а вина перед теми, кому недодано, саднит долго. Со всех сторон получается – живой.

*ДМИТРИЙ БЫКОВ*

## ПОЧЕМ В РАКИТНОМ РАДОСТИ

Машину я оставил на улице под липами – они сильно выросли, – а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа – красного кирпича стена потребсоюзского склада, слева – пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора – уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединой, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха – оранжевого, смиренного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место – то под левую, то под правую мышку, – это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву...

Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, – тут должны обитать люди пожилые, – и постучал, прислушиваясь к тому, что выделявало мое сердце: оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.

Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.

– А он только что уехал на речку, – хлопотливо сказала она. – Нешто вы не встретились?

Она обозналась – в коридоре был сумрак и чад.

– Я не к нему. Я к вам, – сказал я.

– Ах ты господи прости, а я подумала – Виктор...

Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет, – в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стограммовая рюмка и в ней, накреньясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.

Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча повлияли на меня ободряюще, – тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:

– В тридцать седьмом году в вашем дворе я... украл петуха. Красный такой... Случайно не знаете, чей он был?

Я только потом понял, что так нельзя было говорить, – можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:

– Да это небось дядин Васин... Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное... А вы что ж, с нужды али так на что... взяли-то?

Я объяснил.

– А кочеток ничего себе был? Справный?

– По-моему, ничего... Веселый такой, – сказал я.

– Дядин Васин. Один он держал тут... А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж...

Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что я продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.

– Я думал... может, заплатить кому-нибудь... или вообще как-то уладить все, – сказал я.

– Бог знает, что вы буровите! – суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой. – Это кто ж от вас примет деньги...

заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдася кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..

Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасно – как бы нас не услышали – советовала мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.

У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же, чтобы она увидела мою «Волгу» – новую, роскошно-небесную, черт бы ее взял! Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:

– Не стыдись. Мы люди свои... Садись и поезжай куда тебе надо!..

Я ехал в Ракитное – большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов – величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.

Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затянет изнурительно тоненьким речитативом:

Ах, дед Кузьма!  
Не дери козла!  
Дери козочку!  
Белоножечку!  
Привяжи к кусту...

Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.

Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин – это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?... В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда – потом, когда напишу – свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:

– Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»

Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, – лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась ненаписанной. Я видел ее – плотно-тугую, тяжело-маленькую, как булыжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой...»

Все лучшее в этой моей ненаписанной книге – радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли – пришло ко мне на рассве-

тах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом – прошлом, темном и нелюбимом – и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, – я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и споро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, вводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскуля...» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик – мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилицем. Он приходил всегда одинаково – одной рукой под-держивая трусы, а другую ладонь вверх протягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.

– Ну? Когда теперь получишь?

Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, – Кузилице терял веру в меня.

– Теперь уже скоро, – обещал я.

– А какую? Красненькую?

Вслед за этим наступала минута немного ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник – гибкий и вибрирующий, как пила.

В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:

– Ну, гляди не свисти! Чтоб получил!..

Речь шла о машине напрокат, – мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку – емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее...

«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство – посох, с которым человек входит в жизнь. Свой – сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы – я потерял вместе с именем «Кузьма»...

На третий день я поехал в Ракитное.

...Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки, – это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом – давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо, было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на Пасху наш ракитянский дед Мишуня – перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши – первый в моей жизни подарок! – я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось. И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.

Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает – и исчезает ли? – из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привет, радость открытия, скуловоротное

ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки... Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в стороны. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловина, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, – это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его...

Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первоизданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни...

Я давно слышал нарастающий гул – со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, – в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.

– Эй! Ты чего?

Я выдохнул воздух и сел. У кювета стоял маленький сердитый и как огонь рыжий паренек в стильной клетчатой рубашке и разбитых кирзовых сапогах.

– Ничего, – сказал я. – А что?

– Да ни хрена! Лежишь как убитый. Нашел тоже место! Я думал, случилось что. Перебрал, что ли?

– Да нет, – сказал я.

– А чего ж?

– Извини, – попросил я.

– Сперва напугал, а потом извини... Ну, пока!

Медведовку – наш райцентр – я увидел издали с горки. Ни за что доброе не цеплялась тут моя память, но я должен был остановить машину, опустить боковое стекло и немного посидеть так, пока сердцу не стало легче от неожиданно радостной встречи со своим детством. Я так и не докопался тогда в себе, почему не хочу попасть в Ракитное днем. Наверное, дело было в машине – сияла она непомерно ярко. Я остановился в Медведовке, решив дождаться вечера. Здесь мало что сохранилось от прежнего. Иссох, превратясь в грязную лужу, большой медведовский пруд, исчезли, словно их сроду не существовало, тополя, заборы и палисадники. На площади не было тюрьмы, коновязи и базарных стеллажей. Теперь на этом месте стояло широкое, со всех сторон оголенное двухэтажное здание райкома партии. Чернозем вокруг него так плотно был утопан, что казался асфальтом.

Я помнил все медведовские вывески – метровые листы красной жести с большими желтыми буквами. Теперь вывески были умеренные, черного стекла, но я долго искал ту, «свою» вывеску, водворенную на крышу низенького деревянного дома. Без нее я не представлял себе редакцию медведовской райгазеты. Мне хотелось найти тот домик, остановиться под окнами и просигналить. Да-да, обязательно погудеть, а потом выйти из машины, поднять капот и будто нечаянно взглянуть на окна редакции, – вдруг там покажется Косьянкин? Ему ни за что не узнать меня, я ведь постарел на двадцать пять лет...

Косьянкин... Ему тогда было под тридцать, а мне четырнадцать. Стихотворение, которое я послал в редакцию, начиналось так:

Фураж колхозники воруют,  
Останков смотрит – наплевать!  
Ему ведь что! Пускай таскают.  
Весна идет, хотится спать.

Это я написал о председателе своего колхоза, – у нас в Ракитном почти все Останковы, и стишок напечатали, исправив «колхозники» на «воры» и «хотится» на «хочется». Мое ликование за себя, поэта, граничило тогда с болезнью, и на второй день после опубликования стишка я сочинил поэму о плохом ремонте сельхозинвентаря. Поэму редакция передала в подвальную статью, и с этого времени я стал бичом родного колхоза, – на муки и горе его становления газета то и дело призывала через меня десницу прокурора и меч райотдела милиции. . .

– Ох и трудным же оказался для Ракитного тот, тридцать седьмой год! Главное – хлеба не было ни у кого, и его пекли. . . из чего только не пекли! Мы с матерью тоже голодали, но я все не унимался и «критиковал», потому что о «положительном» писать еще не умел. То несчастье, которое выбило меня из Ракитного, случилось в метельный день конца февраля. Я брел по выгону из школы, и у обрыва Черного лога на меня напоролся мирошник колхозного ветряка Мирон Останков – мой родной дядя по отцу. Это он сам так сказал «напоролся», сгибаясь под тяжестью мешка. Мы долго стояли молча, – от непонятного страха я не мог сдвинуться с места, и тогда дядя сказал:

– Жмыхи несучи. . . У свата Сергеича разжился. . .

Мешок лежал поперек дядиных плеч, налезая на голову, и дядина шапка съехала набок, закрыв правый глаз. Весь залепленный снегом, бородатый, с оголенными малиновыми руками, вцепившимися в концы мешка, дядя глядел на меня одним глазом, и глаз был неправдоподобно велик и белый-белый, как смерть.

Я побежал к селу вдоль обрыва, а дядя крикнул мне вдогон со слезой и злобой в голосе:

– Не губи! Свой я тебе!..

Зря он это крикнул – я не думал о чем-нибудь худом, я только испугался его глаза, и больше ничего. Дома мать подала мне мякинную лепешку, похожую на засушенный коровьяк, и письмо из редакции. То был «вопросник селькору», отпечатанный в типографии. Я стал читать его и есть лепешку, а мать всхлипнула и сказала:

– Ходила к Миронихе, думала добыть хоть махотку мучицы. . .

– Проживем и так, – сказал я, поняв, что тетка ничего не дала.

– Да глядеть-то на тебя мочи нету. Аж позеленел весь. . .

– Ну и пускай, – сказал я. – А ты больше не лась туда!

– И Мирониха теми же словами проводила меня. . . А сами гречишные чибрики пополам с тертыми картохами пекут. Окунают в конопляное масло и трескают. . . Нешто ж ты им чужой!

«Вопросник селькору» призывал разоблачать двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов. Вечером я отнес к сельсовету и бросил в почтовый ящик самодельный конверт. А через неделю в Ракитное пришла газета с моей заметкой «Мирошник поймался» и карикатурой на дядю Мирона. Он не был там похож, и мешок тащил раза в четыре больше себя. Мать долго и не без тайной гордости разглядывала подпись под заметкой – «К. Останков», – потом заголосила, как по покойнику:

– Сиротинушка ты моя несча-астная, что же ты натворил-наде-елал!..

На том месте, где когда-то стоял редакционный домишко, плотники возводили стропила на новом срубе, и мне не пришлось сигналить и вылезать из машины. Тот домишко сгорел, видать, недавно, – в венцах сруба кое-где виднелись обгорелые кряжи-вставки, и к весенне-чистому духу оголенных осин примешивалась угарная горечь остывшего пепла. «Плохо горел, – подумал я, – надо бы до конца. . .» В восковом свечении сруба я старался не

замечать отвратительные черные заплаты, – в конце концов они ведь закрасятся и не будут видны, но все же на кой черт понадобилось это старье плотникам? Из-за нехватки новых бревен? Вон же их сколько в неразобранном штабеле!

Плотников было двое. Они сидели наверху сруба и мерно, безостановочно тюкали там топорами, прорубая пазы для крокв. Как говорят у нас в Ракитном, работали они «спрохвала», будто зачарованные: тюкнут – и подождут какую-то секунду, пока эхо не ударится в стенку соседнего сарая и не отскочит мячиком назад, к срубам. Глядеть со стороны на такую неторопливо-согласную работу хорошо и одновременно трудно: вас начинает обволакивать какое-то спокойное и вместе с тем обезволивающее оцепенение. Я сидел в машине и смотрел на плотников, прислушиваясь к тому, как в левой стороне груди впервые за многие годы у меня без валидола затихает «зубная боль». Особенно замечателен был старый плотник. На его большой лысой голове против всяких законов естества держалась маленькая, василькового цвета, энкавэдэвская фуражка – и каким только чудом-лихом занесло ее к нему на голову! Когда старик ударял топором, фуражка подпрыгивала и повисала то на правом, то на левом ухе, и каждый раз он водворял ее на макушку привычным и каким-то незаметно спорым поддевом ручки топора. Гладкое, до бубличного глянца отполированное топориче сверкало тогда зеркальным блеском, и старик успевал переложить на нем руки и тюкнуть топором вовремя, когда это и нужно было, чтобы не спутать лада ударов обоих топоров. На той же стороне венца, лицом к старику, сидел молодой плотник в теплой солдатской венгерке и кортовой кепке с матерчатой пуговкой на макушке. От обуха до седловины новая ручка его топора была окрашена фиолетовыми чернилами, – сам постарался, а топориче выстрогал, конечно, старик. Он тюкал и все время стерегуше заглядывал вниз, и вдруг с силой вонзил в бревно топор, ударил руками по коленям и сообщил старику с восхищенной завистью:

– Семую, дядь Саш! Ну, что ты скажешь, а?!

У подножия сруба, разгребая щепу, бродили куры – разомлевшие, круглые, красномордые, и на одной из них ярко трепетал и бился огнисто-вороной петух.

– Эть, дурак головастый, – сказал старик, не прекращая работу, – у тебя только одно на уме...

– Так семью же за каких-нибудь полчаса, чуешь? И хоть бы хны ему!.. Ты давай погляди, погляди, что он выкаблучивает!

– Ай позавидовал? – усмехнулся старик. – Вроде бы не вовремя...

Искоса он все же заглянул вниз и сразу же переместил себя на другую сторону венца, а топор прижал к животу.

– Опять приперлись? – сказал он кому-то внутри сруба. – А ежели, храни бог, топор сорвется вам на головы? Что тогда?

Я различил глуховатый мальчишеский голос, но не расслышал слов, а старик выпрямился и сказал напарнику осерженно и недоуменно:

– Нет, ты погляди-ка! «Брешет, – говорит, – топор не вырвется». Вот же согрешение!..

Напарник прилег на бревно и гулко, как в колодец, крикнул:

– Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и...

Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери не видимых мною детишек, и в тот же миг они – мальчик и девочка лет по шести – показали на гривке придорожной канавы. Они бежали молча – девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придерживая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям...

Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой

гривке, по которой убегали дети, пробивались пяточки лопушника и над ним с чуть различным стеклянным звоном толклись комариные столбы.

И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках...

Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с полевой дороги на выгон, не видя села. Оно рассеялось лицом на юг по склону, сбегающему к Ракитянке – изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мололи. Его давно надо было расщипать на топливо. Он мог и так сгореть... от грозы, например. Или во время войны... Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом... Он же как на ладони тут!..

Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты, – в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы – кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты – может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал:

– Голову за пазуху не сховаешь!

Я пригнулся пониже, а дядя Мирон, подождав чего-то, шагнул на льдину и пошел ко мне – худой, большой и чужой. Он остановился от меня шагах в двух, поставив перед собой комлями вниз вязку лозы, уже покрытую серыми мохнатыми пуплышками.

– Ну? Схозячился? Давай побалакаем!..

Он меня видел, но я боялся и не хотел этого и поэтому молчал и не двигался.

– Платят они, что ли, тебе за брехню? – спросил дядя и выругался в закон и веру. Вот тогда-то я и оглянулся зачем-то назад. Я увидел неровную, сизо-темную мусть реки и бегущие навстречу ее течению кусты ивняка того берега, оказавшиеся теперь в середине разлива. Я видел это и падал на спину, потому что на меня заваливались снопы тресты, – я тащил их на себя обеими руками. Я был уже в реке, но успел схватить глазами стоявшего на прежнем месте дядю Мирона. Я запомнил его раскрытый рот, белые глаза и вязку лозы у ног.

Из реки меня выловили под Черным логом бабы – белье там полоскали. Я так и не выпустил из рук снопы тресты. Они зацепились за прибрежный раkitник и с ними застрял я. На шее у меня оказалась продолговатая царापина – проплывающей льдиной или корягой чикнуло. И захворал я не от этого. Просто простудился, а дядя Мирон... Зачем ему надо было прятаться в лозняке? Ну зачем? Он просидел там до вечера, – видел член сельсовета Яшка Кочанок, – и ножик потерял... Я не знаю, кто и как сообщил обо всем в Медведовку, но на второй день в Ракитное прибыли редактор газеты, прокурор и секретарь райкома комсомола. К нам в хату они не заходили, и о том, что приезжали, я узнал от председателя колхоза Останкова, того самого, которому в моем стишке хотелось спать. Почему-то он сам вез меня в больницу. Я лежал в задке саней закутанный в казенный тулуп, а он все время шел пешком, нещадно бил лошадь и ругался: дорогу развезло, и на проталинах земля курилась теплым туманом. Уже недалеко от Медведовки лошадь выбилась из сил и встала. Председатель снял с себя шубейку, накинул ее на спину кобылы и, взглянув на меня отчужденно, спросил:

– Чем он тебя колупнул? Ножиком, говоришь?

Память о стихше, заморенная дымящаяся лошадь, несчастный вид председателя и его откровенная, беспомощная ярость ко мне не допускали «благополучного» ответа, потому что тогда не было бы никакого оправдания этой нашей поездке с ним, и я заревел и подтвердил:

– Нож... Ножиком!

– Ну, будет, будет! – сказал председатель. – Там и ножик-то был, видно, с гулькин нос! Присохло бы – и все. А теперь вот...

Больше он ничего не сказал. В больницу мы приехали поздно вечером...

Со стороны Медведовки к Ракитному кто-то ехал на телеге, а я стоял на самой дороге, и посторониться мне было некуда: справа и слева к ее колеям подступали зелены. Можно было проехать только вперед, к ветряку на выгон, и там пропустить подводу, но я решил стоять там, где стоял: мне хватало ветряка издали. Я сидел в машине и в отражательное зеркало следил за приближающейся подводой. Она ведь не забуксует, если и объедет. Я видел только лошадь – муругую, статную и сытую. Телега была не видна, и тот, кто сидел в ней, не думал объезжать «Волгу». Лошадь шла мелким танцующим шагом и остановилась рядом с машиной. В зеркало я видел ее большие фиолетовые глаза с белым ободком и темные чистые ноздри с розовым жаром в глубине. Такие глаза и ноздри бывают только у жеребца. Потом, когда его охолостят, глаза полиняют и ноздри потухнут. Это я подглядел в детстве и запомнил в обиде на коновалов. Танцую на месте, жеребец все тянулся губами к стеклу машины – пить хотел, но вдруг голова его круто откинулась вбок – сильно рванули, видать, за вожжину, и мимо «Волги», в каких-нибудь двух сантиметрах, проскочили дрожки. Я не разглядел того, кто в них сидел. Архаровец! Не мог забрать круче! Дрожки остановились недалеко, и ко мне, заваливаясь вперед, как ходят только с намерением бить, не спеша пошел лобастый приземистый человек. На нем была новая молескиновая спецовка с широкой латкой нагрудного кармана, откуда высывались штук пять остро отточенных карандашей. «Местное начальство», – подумал я и вылез из машины, но ракитянин встал боком ко мне и остервенело, сухо и громко плюнул за дорогу, на то место, где в зеленях глубоко и остро пролегал след колес дрожек. На меня он не взглянул и, вернувшись к жеребцу, ударил его ногой под пах. Дрожки выкатились уже на выгон, а я все слышал еканье жеребьячьей селезенки...

Крылья ветряка надо было остановить вертикально или горизонтально, а не так, как они простерлись теперь: наискось по срубам. В этом их положении скрывалось что-то беспокойное и ненужное людям, будто они нет-нет да и «оживают» и вертятся одни, без мирошника.

Ненужное людям... Если бы на свете существовало только то, что им нужно. Кому нужно было то, что случилось тогда? Советской власти? Дяде Мирону? Мне? А вот случилось же!..

Первую ночь в больнице я просидел в коридоре. «Доктора нетути и местов тоже», – сказал сторож. Он лежал на двух составленных скамейках, и на его ногах, протянутых к открытому жерлу печки, вонюче испарялись мокрые валенки. Меня бил озноб и чох, а сторож каждый раз протяжно и блаженно приговаривал:

– Будь здоро-ов, Иван Петро-ов!

А в следующий раз:

– Корову веде-ешь!

И потом:

– Здорово живе-ешь!

Утром коридор до отказа заполнился больным людом из деревень района. Мне хотелось есть и спать, и я дремал в углу, сидя на корточках. Там и нашел меня перепуганный чем-то старичок доктор, закутанный в халат из суровой холстины.

– Ты, случайно, не Кузьма Останков? – свистящим шепотом спросил он, наклонясь ко мне.

– Кузьма, – так же шепотом ответил я.

– Из Ракитного? Что ж ты, голубчик! Тебя ищут, а ты...

Он взял меня за руку, и я ощутил дрожь и липкую влажность его холодных пальцев. Через расступившуюся толпу больных мы прошли в приемную комнату. У окна спиной к нам стоял кто-то в длинном кожаном пальто, а за столом сидел маленький румяно-красивый человек в волчьей дохе и фуражке.

– Так что ж вы морочите нам голову?! – тоненько крикнул он, мученически глядя под ноги доктору. – Я же сам распорядился отправить его сюда! Вчера днем распорядился!

– Видите ли, товарищ Косьянкин, – жалующе заговорил доктор, все еще не выпуская моей руки, – я, как изволите знать, один тут...

– Ничего мы не изволим знать! Давайте быстрее заключение!

Это сказал не Косьянкин, а тот, который стоял у окна. Доктор приказал мне раздеться и холодными пальцами начал крепко и гулко постукивать по моим ребрам.

– Это вы после, – капризно сказал Косьянкин. – Исследуйте сначала рану.

– Рану? – спросил доктор. – Где?

– На шее, – сказал тот, что был в кожанке.

– Ах, вот это? – доктор погладил ладонью мою царапину, и она зачесалась, но больно мне не было. – Это не опасно. До свадьбы заживет, – сказал он мне и улыбнулся.

– Как называется такая рана по-медицински? – нетерпеливо-обиженно спросил Косьянкин.

– Ну... линейная, если хотите... резаная, – пробормотал доктор. Тогда тот, который был в кожаном пальто, сказал: «Яс-сно», а Косьянкин страдальческим голосом, будто это не меня, а его оцарапало льдиной, распорядился «обеспечить» за мной в больнице «большевистский уход». Ни Косьянкин, ни человек в кожанке ни разу не взглянули мне в лицо, и я чувствовал себя виноватым перед ними.

Потом недели две я жил как во сне. Я все-таки подхватил в речке воспаление легких, и все, что в бреду и наяву виделось мне, походило на длинный немой кинофильм, героем которого был я, Кузьма Останков. Я словно сидел на огромном возу сена. Я не знал, кто им правит и куда мы едем, но ехать хотелось, потому что мне было отраднo и гордо, как никогда не бывало до этого: почти каждый день меня в больнице навещали медведовские комсомольцы и пионеры с барабанами и горнами. Они выстраивались в коридоре и через открытую дверь салютовали мне молча и завистливо. Конечно же я догадывался, за что они меня полюбили, – за дядю Мирона, за то, что я написал, как он поймался с мешком муки. И еще за то, что я чуть не утонул...

Выздоровел я сразу, в один день. Это было в воскресенье. Доктор тогда пришел позже обычного.

– Ну? Как дела? – спросил он, присаживаясь ко мне на койку.

– Ничего, – сказал я.

– Язык!

Я высунул язык.

– Хоро-ош!.. – басом сказал доктор. – И тут ты хорош. Не видел еще?

Он вынул из кармана халата вчетверо сложенную несвежую газету, развернул ее и протянул мне. То была наша медведовская «Колхозная жизнь». Я увидел в ней свой снимок, и во рту у меня стало прохладно и сладко, как от мятной конфеты. Под снимком через весь газетный лист тянулась черная строчка из огромных букв, и я никак не мог прочесть ее, потому что буквы плясали, пропадали и вновь возникали перед моими ликующими глазами.

Доктор встал и почему-то на цыпочках вышел из палаты. Я вскочил, уселся на подоконник и, минуя заголовок, оставляя его себе в подарок под конец всего этого длинного праздника, стал читать статью. Она начиналась с описания половодья на нашей речке. Дальше в статье рассказывалось о том, как Мирон Останков накинудся с ножом на селькора, а после сбросил его в весеннюю пучину. Но убийца просчитался! Юный герой, преодолевая мучительную боль

раны, спасся и сейчас находится в райбольнице, где советские врачи самоотверженно борются за его жизнь...

Первое, что я ощутил, прочитав статью, – это испуг и несчастье потери – статья была не про меня! Я кувырком падал с воза, на котором ехал все эти дни, а на мое место залезал тот, о ком писал под моим снимком В. Косьянкин, залезал какой-то Кузьма, кого резали ножом и кидали в пучину...

Заголовок статьи я так и не прочитал: ко мне пришла мать.

– Что ж ты тут сидишь, окаянный! – западающим шепотом крикнула она от дверей палаты, и я спрыгнул с подоконника и зачем-то спрятал газету за спину. Мать шла ко мне медленно, держа на отлете руку с каким-то большим темным узлом, и я подумал, что у нас сгорела хата, – мать всю жизнь боялась пожара. Я был так уверен в этом, что спросил всего лишь два слова:

– Когда, мам?

– Вчерась... к расстрелу его. О господи!..

...В Ракитное мы шли не по дороге, а по полю – так захотела мать. Снега уже не было, и земля успела обветриться и затвердеть. Я шел впереди, а мать сзади. Узел она несла в руках, и я не знал, что в нем лежало.

– погоди. Может, не надо нам днем туда? – то и дело окликала она меня, и мы садились на землю, и мать вглядывалась в меня, как сквозь окно хаты на пустынный двор. В больнице я сказал ей, что «он» – так мы называли теперь с нею дядю Мирона – не пырлял меня ножиком и не пихал в речку. Мать ударом ладони закрыла мне рот и, оглядываясь на дверь, пригнулась зачем-то к полу.

– Не брешы, а то пропадем! Только не брешы теперь! – суеверно зашептала она, и со мной случилось то, что было однажды за год до этого, когда я сорвался с дуба, куда лазил за грачиными яйцами. Очнувшись, я полдня искал тогда в Ракитном свою хату – я забыл, какая она и где стоит, забыл, чей я и как меня зовут. Все, за что удерживалась моя память, был картуз с оторванным козырьком, измазанный сукровицей желтка и серо-голубой скорлупой раздавленных яичек. Я помнил, что он мой, мой, а все остальное, видимое – чужое, и все время, пока искал хату, держал его в протянутой вперед руке.

И теперь, идя по полю, я думал лишь об узле, который несла мать. Речка, больница, пионеры с горнами, статья в газете под моим снимком, дядя Мирон и его расстрел – все это отринулось от меня в сторону, вдаль, все было неразличимо, неправдоподобно устрашающе, как смутная память о давным-давно выслушанной в ночи сказке-угрозе о «свету конце», которого никогда не будет. Я шел и думал только об узле, что несла мать в протянутых руках. Он был с нами, наш, и в нем должно лежать то, нужное мне и матери...

– Ну чего глядишь так?! – теребила она меня и отодвигала, прятала узел. – Ну? Куда вылутился?!

Я молчал.

– Скажи правду. Мать я родная тебе! – просила она и сама пугалась чего-то. – Скажи, что «он» сманивал тебя на речку... Бил... Все равно уж теперь. Ну? О господи!..

Первым с земли поднимался я. Мать подхватывала узел и брела за мной. Она поминутно сморкалась, всхлипывала и шептала исступленно, но неверующе, будто молилась тому, что не должно сбыться:

– Видели его там... Яшка Кочанок свидетелем выступал... И ножик нашли... Нешто задаром казнят? Нет, видели его! Видели!..

В село мы вошли поздно вечером – так захотела мать. Ночью ко мне постепенно вернулось то, что было в туманном отдалении днем: все, что случилось со мной и дядей Мирон. Оно отыскало меня, как отыскал я когда-то свою хату. Я закричал и перелез с лежанки к матери, но она не проснулась. Тогда я начал думать об узле. Чтобы только о нем и ни о чем

больше. Чтобы было со мной как днем. Узел темнел на лавке, и я должен был забыть, что в нем лежало. Там были мой зипун, лапти и картофельные чибрики. Я взял зипун и не стал обуваться. Поэтому Косьянкин и встретил меня босого. Он ехал на бричке. Лошади были белые, кованные на передок. Это я увидел, когда схватил на шоссе обледенелую свекловину и сбежал в кювет.

Косьянкин узнал меня, и я узнал его...

Мне пора было ехать. Сюда или туда. Оказывается, одновременно с воспоминанием того, прошлого, я все время подсознательно думал: не повернуть ли назад? Нужно ли мне показываться в Ракитном? Решить это предстояло на выгоне, где в случае надобности можно было развернуть машину. На нем пробивалась трава и четко метились следы тракторных гусениц. Я проехал мимо разрушенной церкви и увидел приземистую поросль калинника, окаймлявшего Ракитянский погост. За двадцать пять лет искривленные колючие деревья не прибавились в росте. Они сплелись верхушками, а между стволов пролегли глубокие канавки, пробитые телятами и овцами: на колючих ветках, начинающих зеленеть, висели клочья красной, белой и черной шерсти. Я не стал заходить на погост, все равно мне не найти было могилу матери: тут надо кланяться одним поклоном всем покойникам со времен основания села. Я поклонился погосту трижды, ощутив знобящий восторг благодарности к самому себе за то, что могу это сделать, что мне оказалось нужным такое здесь, в Ракитном.

Я еще не поднялся с колен, когда рядом с собой за кустами калины услышал прерывистый, хлюпающе-задушенный смех и мягкий топот ног. Прыгая по холмикам могил, как по болотным кочкам, по погосту убегали ребяташки – трое мальчишек и одна девочка. Они бежали и оглядывались, прыская, и девочка держала в руках черный резиновый мячик, а один из мальчишек – короткую белую палку: наверное, играли тут в лапту, «мечики» по-здешнему.

– Ну куда вы! Идите сюда! – позвал я.

Они сели на могилу и притихли, потом девочка сказала:

– Побеги к нему ты, Кубарь.

Я сразу догадался, кто из них Кубарь, – тот, что держал било, и это в самом деле оказалось так. Ко мне подошел он смело, вперевалку. Он весь был набит смехом, весь, и оттого шел и глядел на меня вперекось. Все у него косилось от затаенного смеха – плечи, голова, рот, глаза. Ему было лет десять или одиннадцать. На его ногах крепко сидели рыжие юхтовые ботинки. Вельветовые штаны и бобриковый пиджак топорщились ново, – впервые надел, видно.

– Ну чего ты? – спросил я.

– А так...

– Кубарь! – сказал я.

– И пускай... А ты молился тут! – сказал он и засмеялся.

– Ну и что? Молился, – сказал я. – Церкву-то ты разорил? Разорил... И ветряк вон тоже разорил!

– Неш я его разорял? – серьезно сказал Кубарь. – Он сам. От ветру.

– Как же, от ветру... Я лучше тебя знаю, кто его разорил! – сказал я. – Теперь небось рожь в ступах мелете!

– В сту-упах! А лектричка на что?

– Какая лектричка?

– А мельница.

– Где же это она у вас?

– А в восьмой.

– Что в восьмой?

– В бригаде. На Покровском дворе...

Я поглядел на крылья ветряка и спросил Кубаря неизвестно зачем:

– Кто ж там... заведует ею?

– Мирошником, что ль? А дед Мирон, – сказал он и цыкнул себе под ноги длинную синюю струю слюны. – Сроду туда не пустит!

– Дед? Чей? – спросил я.

– Останков... Мирон Петрович.

Я посмотрел в лупастые синие глаза Кубаря. Там были смех, любопытство и чистое, ровное доньшко ребячьей души.

– погоди, – сказал я. – Давай сперва посидим... В машине давай посидим. Ладно?

– Ладно, – шепотом сказал Кубарь. Он оглянулся на погост и умело сам открыл дверцу «Волги». Мы посидели минуты две молча, и я спросил последнее, главное:

– Ты давно его видел? Какой он... дед Мирон?

– А лысый.

– Лысый? А где он живет? В каком месте хата его?

– У Черного лога... Новую теперь делает. Под черепицу...

...Их надо было взять – двух мальчиков и девочку, обязательно взять, потому что они стояли рядом с машиной и чуть не плакали, а Кубарь из-за стекла дверцы строил им рожи. Их надо было взять, но я не мог это сделать, потому что «Волга» уже присела на задние колеса и прыгнула вперед, и выгон понесся под нее, и на ухабах и промоинах она отрывалась от земли и летела по воздуху, – я это чувствовал по рулю: его можно было свалить тогда в любую сторону и не изменить направления.

Уцепившись за мое плечо, Кубарь сжался на сиденье, и в его растопыренных глазах я видел восхищение, испуг и просьбу. Сиди, Кубарь! Сиди! С тобой ничего не случится, я хороший шофер. Я научился ездить давно, еще во время войны в тылу у немцев в Прибалтике, когда командовал партизанским отрядом. В нем находились одни военнопленные, бежавшие из немецких лагерей. У каждого из них, когда он набредал на отряд, в глазах было почти то же самое, что сейчас у тебя, – восхищение, мольба и страх, но я принимал этих людей без анкет и допросов, потому что сам был таким, и глаза их успокаивались. У нас хватало оружия, еды и злости, но я понимал, что рано или поздно страх вернется в глаза каждого. Мы все это знали, и поэтому комиссар отряда – тоже бывший военнопленный – политически неуязвимо обосновал нашу задачу: как можно дольше держаться в тылу отступающих немцев и бить их. И мы держались до самой Пруссии. Там нам уже некуда было «стратегически отходить», и канун великой своей Победы мы встретили с восхищением, мольбой и страхом в глазах... Ты сиди спокойно, Кубарь! С тобой ничего не случится, я хороший шофер: после войны я два года водил в тундре трактор – это тоже что-нибудь да значит! Но я не об этом. Я о человеческих глазах, Кубарь! Ты знаешь, с каким полуночным вниманием ящеров глядели на нас «смершловцы», когда задавали вопрос, почему мы остались живы? Что им можно было ответить? Но им отвечали, да еще как! Ведь мы-то верили в правду, в Ленина, в добро, в день. И чтобы вынести побои, оскорбления и унижения, обязательно нужна была такая вера. Иначе нельзя было выжить и одного дня, я хорошо знаю это по немецкому лагерю. Ты понимаешь, о чем я, Кубарь? О том, что в «своем» лагере я не имел права на такую веру. Только я один, потому что это право у меня украл Косьянкин, когда я был еще ребенком. Вот тогда-то, Кубарь, я и почувствовал себя виновным. Виноватым перед Ракитным, перед дядей Мироном. Мертвый, давно расстрелянный, он встал передо мной как искупление и возмездие. Тут, в «своем» лагере, я приблизился к тому водовороту несправедливости, надругательства и лжи, в который был ввергнут дядя Мирон, и сознание своей невинной вины заменило мне то, что когда-то украл у меня Косьянкин. Я почти легко перенес свой лагерь, потому что когда сдавал, дядя Мирон – он днем и ночью незримо стоял в двух шагах от меня – спрашивал:

– Ну как, селькор? Не удалось схомячиться?

– Ничего, – отвечал я. – Ты не беспокойся. Я вынесу. Все вынесу. И даже то, что вынес ты, – расстрел. Ты не беспокойся!..

– Ну-ну! – говорил мне незримый дядя Мирон.

Так я зарабатывал себе его прощение.

Но дело не в том, Кубарь. Сейчас главное – твои глаза. На своем веку я много повидал человеческих глаз. Я знаю, какими зрачками, когда и кто нацеливался в чужое сердце и убивал его бесшумно, наповал. Такие глаза были только у бериевских молодчиков... Да, я хорошо знаю человечесьи глаза! Твои проглядываются до самого доньшка, потому что ты ракитянский Кубарь, Кузяка, Кузилище, и ты, стало быть, сказал правду – дядя Мирон жив. Жив! Его никогда не расстреливали за меня, он строит новую хату под черепицу... Ты понимаешь, Кубарь, что произошло? Тогда в тундре дядя Мирон – тот дядя Мирон, расстрелянный – простил меня, и мы помирились с ним. Мы стали с ним там друзьями. Но сейчас я не знаю, как быть с живым дядей Мироном, с лысым мирошником, строящим новую хату... Я не знаю, Кубарь, чего во мне больше – безотчетной, нужной мне радости тому, что дядя Мирон жив, или горькой обиды к нему за тот свой ночной уход из Ракитного, за то, что с тех пор я пропал для матери без вести. Лишь в сорок седьмом году, когда мы уже помирились с мертвым дядей Мироном, я решил объявиться и послал ей письмо из лагеря. Через два месяца я получил из Ракитянского сельсовета «Справку, выданную в том, что Останкова Пелагея Афанасьевна скончалась в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году и похоронена на погосте в селе Ракитное Медведовского района К...й области». Справка была со штампом и круглой гербовой печатью. Подписали ее председатель Ракитянского сельсовета Д. Останков и секретарь М. Останкова... И вот я не знаю, Кубарь, что мне сейчас делать, как быть с живым дядей Мироном, с лысым мирошником, строящим новую хату под черепицу!..

– Вон туда, – сказал Кубарь, и я сбавил скорость, потому что нужно было сворачивать на Покровский двор. Раньше, при мне, к нему вела с выгона широкая аллея. Это тут я когда-то сверзился с дуба, куда лазил за грачиными яйцами. Теперь дубов не было, но прогон аллеи остался. Он шел под уклон, и я ехал тихо-тихо, потому что стали показываться верхушки хат села. Оно медленно воскресало передо мной, и сердце у меня поднималось вверх, к гортани, как будто я опять бежал в ту последнюю свою атаку под Великими Луками или сызнова выслушивал слова начальника лагеря о своем освобождении и о том, что теперь я имею право обращаться к нему по имени «товарищ».

Покровский двор... Вот они, бывшие барские конюшни под зеленой жостью! За ними сейчас покажется сад, обнесенный каменным валом. Если залезать в пролом вала от речки, то «патошье» яблоки будут с правой стороны, а дули с левой. Я миновал конюшни и выехал на пологий, голо зеленеющий склон. От сада и помину не было. Я увидел внизу речку – голенькую, как холст, и увидел село – справа и слева. Оно проглядывалось насквозь – хаты, хаты и хаты, побеленные, под соломенными крышами, наши, прежние, свои. Все тут было моим родным, ракитянским, все стежки-дорожки, все холмики и овражки. И ни единого деревца, ни одного кустика – нигде!

– А вон лектричка, – сказал Кубарь. – Работает. На ферму все не намелется...

Но я видел ее и сам – белесый, будто заиндеветый сарай на берегу речки. Из села к нему сбегали столбы с обвисшими проводами. В закатном солнце провода сияли накаленно золотисто, и так же сияла солома, раскиданная вокруг мельницы. Я ехал на нейтральной, катился прямо в мельницу, в сумеречный квадрат открытых дверей. Там стояла подвода с мешками, и я затормозил рядом с нею.

– Пойдем вместе, – сказал я Кубарю. Я хотел, чтобы он шел впереди, но ему нравилось идти сбоку, и тогда я взял его за руку. Мельницу наполняли три сказочные стихии – широкий и мягкий гул жернова, сытно-хмельной и теплый запах свежей муки и мерклый свет электрической лампочки, запорошенной мучной пылью. «Отчего же это он облысел? – с обидой подумал я о дяде Мироне. – Тут можно до ста лет прожить... и построить не одну хату...»

Жернов возвышался в глубине сарая маленьким лобным местом. Вокруг него беспорядочно валялись мешки. Четверо незнакомых мне ракият сидели в уголке, занятые не то картами, не то выпивкой, – я не успел разглядеть это, потому что увидел дядю Мирона. Он выглянул из-за жернова, махнул рукой тем четвертым и, будто не замечая меня, как не замечают нехстати нагрывавшее начальство, наклонился над неполным мешком. Дядя Мирон... Старый. Живой! Я выпустил руку Кубаря, набрал в грудь воздуха и пошел к жернову. Дядя Мирон стоял ко мне боком и впустую, для виду, теребил огузок мешка. Я видел его безбородое обветренное лицо, кончик хитро прищуренного глаза, старчески лоснящийся нос. «И пусть живет хоть до ста! Хоть до двухсот! И что хату новую строит – тоже хорошо. Хоть две!» – думал я, а он все теребил и теребил мешок, и тогда я остановился и сказал:

– Здравствуйте, дядя Мирон!

Нас разделяли шага два, как и тогда на льдине. Дядя Мирон поднял лицо и выпрямился. Я стоял, прижав руки к бокам, а он свои пошлепал об полу кожуха и спрятал за спину.

– Не признаю чтой-то, – смущенно сказал он, клоня голову то вправо, то влево. К нам подошли те четверо и заинтересованно встали у жернова.

– Я Кузьма, – сказал я.

– Ага. Так-так, – сказал дядя Мирон, глядя на меня с напряженным любопытством. Я видел, что он не узнает меня, и ничем не мог помочь себе: язык мой онемел. – Так-так, помню, как же... Только вот хвамилие вылетело из головы. Вроде бы тот и вроде бы нет...

– Я Кузьма Останков. Гришакин сын, – сказал я.

Мало ли каких слов я ждал в ту минуту, но из этого ничего не сбылось, – дядя Мирон не сразу, молча и дробненько пошел ко мне, глядя куда-то в угол мельницы, и лицо его было белым, как мука. Я не знал, с чем он шел, и поэтому не двигался с места. Он подступил ко мне вплотную и не то сказал что-то, не то охнул, и голова его очутилась у меня под мышкой, – до такой степени, оказывается, дядя Мирон был мал ростом. Я обнял его за плечи и зажмурился...

Потом мы стояли друг против друга, и дядя Мирон водил по моему лицу шершавой, как брезентовая варежка, ладонью и спрашивал:

– Да ты чего это? Слышь?

– Это так, – сказал я. – Сейчас пройдет...

– Племяш, сгреб его мать! – плачуще сказал дядя Мирон всем, кто был на мельнице. – Я сразу признал, как только увидел. Он, думаю! Так оно и вышло... Племяш!..

Они, оказывается, выпивали и не кончили, – в бутылке, спрятанной за мешками, оставалась еще добрая половина сизовато-золотистой мути.

– Первачок! – ласково сказал дядя Мирон. – Давайте-ка на радостях...

Он примостился на поваленный мешок и откинул полу кожуха, чтобы на нее сел я.

– А то обмучнишься.

Дядя Мирон, конечно, видел, что моим заношенным спортивным брюкам и черт не сват, но дело было не в муке, и я сел на его кожух и благодарно ощутил локтем тугой и крепкий дядин бок. Те четверо сели напротив нас. Они были моложе меня, и я никого из них не знал. От их фуфаяк и кепочек попахивало запчастями – наверно, парни работали шоферами или трактористами.

– Наши ракиятские все, – сказал дядя Мирон, хотя я ни о чем не спрашивал. – Это вот Шурка, младший свата Сергеича, это Андрюха Захарочкин, а это внуки Петички Останкова. Что бурдастым дражнили. Не помнишь?

Все засмеялись, и внуки Петички бурдастого тоже.

– Ну, побудем живы! – серьезно и строго сказал дядя Мирон. Правой рукой он подносил ко рту разлатую, голубого стекла странную рюмку с выступами по бокам, – я только потом догадался, что это лампадка, – а левой стаскивал с головы картуз. Ему хором сказали: «На доброе

здоровье», все, кроме меня, потому что я смотрел на его голову – совершенно лысую, чистую и блестящую. Когда-то у него были не волосы, а грива. За это и дразнили его кудлатым...

Вторую лампадку выпил я, третью Шурка, потом Андрюха, а остатки прикончили внуки Петички бурдастого. Каждый, перед тем как выпить, говорил: «Побудем живы», а я сказал это дважды – первый раз дяде Мирону, а во второй самому себе и всем. Закусывали мы хлебом и салом. Хлеб был как хлеб: черствый, ржаной, а сало... другого такого на свете нету! Это то, что в Ракитном называют «любовчинкой». Это когда оно не толстое и не тонкое, но обязательно с мясной прослойкой и со шкуркой воскового свечения, опаленной ржаной соломой и омытой колодезной водой на Рождество. Оно непременно хранится в ивовом кошеле, в таком, что хотел сплести тогда дядя Мирон...

– Ну, как вы тут поживаете, а? – спросил я всех. Я спросил это негромко и доверительно, как спрашивает свой у своих о давней тайне, в которой все замешаны и заинтересованы поровну. Я спросил и напрягся, готовясь услышать некую горькую правду, скрытую под чешуей ракитянских афоризмов, как луковица под кожурой, но внуки Петички бурдастого охотно и беззаботно сказали слаженно:

– Ничего живем...

– Жизнь, брат, наклюнулась правильная! – раздумчиво сказал вслед за ними дядя Мирон и неожиданно отшатнулся от меня и крикнул: – А ты чего прилез сюда? Ну чего? А?

Я положил на место недоеденный хлеб и начал медленно вставать, чтобы освободить полу дядиною кожуха. Я уже встал и только тогда взглянул на дядю Мирона. Он смотрел в сторону жернова. Там стоял Кубарь.

– Он со мной, – невнятно сказал я и сел. – Дорогу показал...

– Это дело другое, – извиняюще сказал дядя. – Тогда пускай побудет...

Надо было выпить, и я встал, чтобы пойти к машине за коньяком, но дядя Мирон поднялся со мною разом и сказал:

– А я ить писал тебе. Два письма писал и одну телеграмму отбивал!

– Куда? – удивился я.

– Да туда. На Север... Мне тогда из сельсовета письмо твое передали. Насчет матери ты справлялся... Служил там, что ли, при лагерях?

– Н-нет, – не сразу ответил я.

– А хоть бы и служил. Какая ж оказия! Не один ты там служил, – сказал он.

Кубарь, наверно, не помешал бы нам, но дядя Мирон захлопнул перед ним дверку машины и приказал мне ехать.

– Выгоном давай, низом завяжем.

– Я знаю, – сказал я.

– Не забыл?

– Нет. Ничего не забыл...

Он сидел прямо, оценивающе и по-стариковски суетно следя за моими руками, за рычажками и указателями распределительного щита, – а умеешь ли ты, дескать, справляться, – и от этого и я не вовремя переключал скорости и ехал рывками. На выгоне стрелка спидометра плавно всползла на «80», и дядя Мирон, успокоенный, откинулся на сиденье.

– Значит, не забыл? А я, грешным делом, насили угадал село, когда пришел, – сказал он. – Вроде и все тут было на месте, а все ж не то... Сады свели без меня, вот в чем загвоздка сидела!

– Как без тебя? – спросил я и сбавил скорость. – А где же ты был?

– Далеко, брат! – почти весело сказал дядя, но засмеялся делано и на меня не взглянул.

– Сидел? За то самое сидел? Да?

Я спросил это резко, с неосознанным гневом к нему, и таким же тоном ответил мне дядя Мирон:

– А за что же!

– Сколько?

– Все десять. Под обрез!

– Заменяли расстрел?

– Я не жалился... – нехотя сказал дядя. – Ну хватит об этом. Что было, то прошло. Ты-то как? Машинка своя или казенная?

Нам пора было сворачивать к селу, к дядиной хате, но я взогнал стрелку спидометра на «100» и проскочил мимо Черного лога.

– Куда ж ты? А говорит – помню! – забеспокоился дядя Мирон. – Заворачивай!

– Нет, я помню, – сказал я. – Только сперва давай побудем одни. Давай выпьем немного... Чтоб одни. Ладно?

– Да выпить нам не грех, – согласился дядя. – Тут чуть подальше можно того самого бурашного самогончику достичь у Лесовички. Недорогой.

– У Милочки? – спросил я.

– Ага. Ты должен помнить ее. Ровесница твоя. Вдовухой давно...

– У меня есть с собой, – сказал я. – Коньяк. Три бутылки. И закуска есть.

– Ну-ну! – поощрил дядя. – А где мы пристанем?

Я не ответил и не сбавил скорость. Верстах в четырех от Ракитного прямо по выгону был Кобылий лог – широкое зеленое приволье, где я стерег когда-то трех овечек деда Мишуни. Там мы остановимся и будем совсем одни...

Солнце уже село, и небо в том месте догорало теплым шафранным пламенем. Я включил подфарники. Машину наполнил ровный уютный полусвет. Как на мельнице. И мотор гудит, как жернов. Хорошо, если бы дядя Мирон ни о чем не спрашивал меня до Кобыльского лога. Особенно о Севере. Сейчас ему нельзя говорить, что я тоже сидел, – не поверит, подумает, подлаживаюсь... Может, совсем не говорить? А что же тогда я делал там? В охранниках служил? Ну, нет! Пошли они к чертовой матери!..

Дядя Мирон будто понял мои мысли и сидел покойный и какой-то печально-светлый. Лишь возле самого Кобыльского лога он снова спросил меня:

– Говорю, машинка своя или казенная?

– Напрокат взял, – сказал я.

– Это как понимать?

Я объяснил.

– Что ж так! – почти обиженно сказал дядя. – Служишь-то кем?

– Я... видишь ли, писатель, – неуверенно сказал я.

– Вот оно как! – негромко произнес дядя и повернулся ко мне всем корпусом. – Ну, а пишешь об чем?

Многое было в этом вопросе, в глазах и в голосе дяди Мирона: и удивление, и разочарование, и насмешка, и досада пополам с сожалением. Тут нужен был ответ, равный вопросу по краткости и ясности, и я не стал отвечать, затормозил машину и включил фары. Мы стояли на Долгом мысу – первом из семи тут бугров, полого сбегающих к болоту. Два мощных световых столба протянулись по нему и широкой золотой гатью перекинулись через болота. Там засвистело и запищало, – потревожили птиц; в затихшем моторе что-то стрекотало и пощелкивало, и я вышел из машины и трижды прокричал Кобыльему логу: «Эге-ге-ей!» Он мне ответил тем же, и я достал из багажника ящик из-под сливочного масла и вынул из него коньяк, консервы, корейку и хлеб. Все это я сложил на сиденье, и когда взглянул на дядю Мирона, то увидел его в прежней позе, с прежним вопросом в глазах.

– Не надо, дядь Мирон, – сказал я. – У меня все в порядке. Понял?

– Что ж, ладно... Это дело такое, – проговорил он и провел рукой по лицу, будто смахивал мучную пыль.

– Я хороший писатель, – сказал я.

– Ладно, – улыбнулся дядя Мирон.

У нас не было рюмки, и я отвинтил с термоса колпачок, потом откупорил бутылку, нарезал корейку и открыл консервы.

– Может, свет побольше зажечь?

– А зачем, – сказал дядя Мирон, – нам же не читать тут...

Я передал ему колпачок и бутылку. Он опять проделал все как на мельнице: сперва наполнил посудинку, а затем отставил бутылку, снял свободной рукой картуз и сказал: «Побудем живы!»

Я выпил два колпачка подряд – мне это нужно было – и дважды сказал: «Побудем живы». Дядя Мирон вкусно и бережно закусывал консервами, то и дело наклоняясь над банкой, и я близко видел тогда его шею – сплошь в сетчатке морщин и морщинок. «Каждая у него обругана матерщиной, каждая!» – подумал я и спросил:

– Где ты отбывал, дядь Мирон?

– Далеко, брат! – с прежней неискренней веселостью ответил он.

– А все же?

– Подписку дал не разглашать...

– Теперь на это начхать! – заявил я.

– Это верно, – сказал дядя, – да только видишь ли какое дело: говорить не хочется... Ну было и было... А зачем его вспоминать?

– А можешь не вспоминать? Все чтобы не вспоминать?

Я не только спрашивал, но и просил, и дядя Мирон все понял, что я хотел. Он положил рядом с колпачком кусок батона, подобрал с колен крошки, кинул их в рот, прожевал, выпрямился и, строго глядя на меня, сказал:

– Дурак ты! Ну что ты означал тогда в моей беде? Ты ж был... ховрашок, вот кто!.. Кто ж из нас с тобой был виноват?!

Я нарочно уронил на пол машины колпачок и стал искать его там, чтобы подождать, пока остынут глаза, но дядя Мирон тоже наклонился и начал шарить руками около педалей... После этого мы немного посидели смирно, затем выпили, и дядя Мирон сказал о коньяке:

– А все ж верно говорят, приванивает он!

– Клопами? – спросил я.

– Клопами, будь они неладны!

– У вас в лагере много было?

– Заедали! – зажмурился дядя.

– Нас тоже, – сказал я.

– Да неужели ты в самом деле сидел? – пораженно спросил дядя Мирон.

– В самом, – просто и легко сказал я.

– За что, господи?

– В плену был...

– Ах, вот оно что-о! И сколько отдул? Ну тогда мне понятно! Тогда все... Ах же ж курвецы! Ах же ж...

И мы начали с дядей Мироном ругаться беззлобно и с удовольствием, оба дивясь молитвенной складности страшной лагерной матерщины, какой мы обкладывали караульных, надзирателей, клопов, голод, стужу, тоску... Мы разговаривали, ругались и выпивали, и это было впервые, когда я испытывал чуть ли не благодарность судьбе за то, что сидел в «своем» лагере. Потом мы спели лагерную песню, и мне стало не очень весело, а дядя Мирон положил руку на мое плечо и, как по секрету, который он доверяет мне первому, принялся расхваливать наступившие времена, – «жизнь наклюнулась законная», – а Хрущева называл, как своего свата, – «Сергеич»!

– Виссарионовича в родню уже не хочешь? – засмеялся я.

Дядя Мирон не уловил в вопросе шутки и сказал отчужденно:

– Этот в моей родне не ходил!

– Ну как же! А кому ж он доводился великим отцом?

– Не знаю, – сказал дядя Мирон.

Он замолчал, засунул руки в рукава кофуха, как при холоде, и сидел ершистый, враз постаревший. Черт меня дернул вспомнить «отца»!

– Ты что, дядь Мирон, шуток не признаешь? – осторожно спросил я.

– Индюк, милоч, тоже однава пошутил, – сказал дядя Мирон и разнял руки, будто готовясь к чему-то. – Он пошутил, а курица снеслась... Ты лучше скажи мне, об чем пишешь?

Черт меня дернул вспомнить «отца»!

– Я хороший писатель, Мирон Петрович, – сказал я.

– Ты уже хвалился раз. А вот пишешь об чем? – с прежней настойчивостью повторил дядя. Я протянул назад руку, нащупал на сиденье свои книги и кинул их на колени дяде Мирону. Он взял по одной в каждую руку, приблизил к глазам, потом отдалил, и я засветил кабинную лампочку.

– Тут же... Константин какой-то, – нерешительно проговорил он.

– Это псевдоним, – сказал я.

– Чего-чего? – подозрительно спросил дядя Мирон. Тогда я объяснил, что такое псевдоним, о чем мои книги, когда и как я их написал...

...Тот, «чужой», лагерь размещался в Литве, и мы с младшим лейтенантом Вороновым убежали ночью, когда военнопленных погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию. Воронов был доходягой, и я тащил его на себе. На рассвете мы набрели на одинокий хутор, – они все там были одинокие, и в деревянной кадке с водой, стоявшей возле колодца, я обнаружил отстойник с молоком литров на пять. Мы прихватили его с собой и еще захватили сноп сухого мака, зашли за сарай, – он стоял метрах в ста от дома, и там выпили молоко и охолостили все головки мака. Воронову стало плохо сразу же. Он извивался, грыз маковые стебли и почти кричал. Я сделал для него все, что мог: мял живот, зажимал рот ладонью, но он кусался, кричал, а ночь кончалась. Тогда я оглядел недалекий лес и светлеющее небо, и Воронов перестал кричать и сказал:

– Я сейчас умру, уходи один...

Он правильно разгадал мою мысль, но я ударил его по щеке и побежал к воротам сарая. Они оказались запертыми на внутренний засов, а под ними был проем, загороженный сосновой плахой, и я вышиб ее ногой. Через этот проем я втащил Воронова в сарай, заваленный немолоченым овсом и горохом. В горохе я проделал туннель, и мы затиснулись туда, и все время Воронов молчал. Хутор просыпался, и я вспомнил про отстойник, забытый наруже. Его надо было спрятать и приставить к подворотне плаху, но Воронов опять стал корчиться и стонать. Он норовил выпростаться из-под гороха, а я не пускал его и совал ему в рот пилотку...

Я был убежден, что выдал нас не стон Воронова, а горох: сухой и ломкий, он громыхал, как кровельное железо, но Марите потом сказала, что виноват был отстойник. Она нашла его у сарая, увидела пустой зев подворотни и потом уже услышала стон Воронова. Она вошла в сарай и позвала:

– Э-эй... пленчик... не бойсь!

Я обеими руками сдавил горло Воронова, он хрипел и бился, и горох громыхал, как кровельное железо.

– Не бойсь, пленчик!

Голос звучал искренне и напуганно, – однажды в детстве я так уговаривал собаку, которая кинулась на меня в Кобыльем логу, – и я отпустил Воронова и полез из укрытия. Белоголовая маленькая девушка стояла у раскрытых ворот сарая. Увидев меня, она попятилась и загородилась отстойником, и я понял ее страх и не встал с колен: вместо гимнастерки на мне

был немецкий мешок с черным орлом и надписью «фельдпост», а кожу с лица я облупил, когда падал из вагона.

– Мы только что зашли! Мы уйдем вечером! Не бойтесь, пожалуйста! Мы только так! – сказал я ей.

Она потом говорила, что я держал руки у подбородка и кланялся, как в костеле, и если это было так, то в костелах молятся не зря...

Воронов умер в полдень. Я проделал в горохе дыру, и на матице под крышей сарая увидел живых, воркующих голубей. Они улетали и тут же возвращались... В сумерках пришла Марите. На этот раз она не произнесла «эй», а сказала только «пленчик». Она принесла продолговатую ковригу хлеба, два куска сала и пачку листового табаку.

– Надо еще бумагу, спички и лопату, – сказал я.

– Лопат у нас только один, – сказала Марите.

Я объяснил, для чего нужна лопата. Марите прошептала: «Езус-Мария!» – и побежала к дому. Я смотрел на нее в щель ворот и думал, что она забудет о спичках и бумаге. Она вернулась с лопатой. Мы пошли на восток, к лесу – туда мне было по пути. Марите несла хлеб, сало, табак и лопату. Я нес мертвого Воронова и думал, как быть без бумаги и спичек. Хотя бы только спички. Табак ведь листовой, и его можно будет скрутить так, без всего...

Могилу я вырыл в глубине лесной опушки под густой елью. Копать пришлось недолго, – на четвертом «штыке» показалась вода. Я утопил в нее тело Воронова, заровнял яму и разбросал по кустам излишнюю землю, – Марите сказала, что возводить холмик нельзя: о мертвецке может узнать полиция, и в хутор «придет плохо». Мне оставалось вытереть руки и взять у Марите хлеб, сало и табак. Я знал, что отойду недалеко, сяду и буду есть хлеб с салом. Я полночи буду есть, а полночи идти на восток, и никакого заворота кишок у меня не будет! Марите долго объясняла, где мне перейти вброд речку, которая впереди, но я плохо понимал смысл ее слов, потому что хлеб тяжело-любовно прильнул к моему телу, и оно молчаливо вопило, что он тут, наш!

– До свидания, – сказал я Марите. – Спасибо тебе за все!

– Свиданья, – ответила она. – А какая твоя имя?

– Кузьма, – сказал я. – А твое?

Она назвала. Мне хотелось сказать ей благодарное слово побольше, чем «спасибо», и я спросил:

– Как же ты узнала, что молоко... взяли пленные?

– А кто ж украдуть? – спросила она.

– До свидания, – сказал я. – Большое тебе спасибо за все!

– Тебя скоро будут посадить лагерь, – сказала она. – Литва люди не ходит мешок. Ночью я буду взять рубашку отец и буду дать для тебя.

– Хорошо, – сказал я, – большое тебе спасибо за все!

В гороховой скирде я проделал новый туннель и полночи ел хлеб с салом, а полночи ждал Марите, но она пришла только утром и принесла голубую ситцевую рубаху и домотканые шерстяные штаны. Спички и бумагу опять забыла. Я переоделся в своем логове, и, когда вылез на свет, Марите оглядела меня и чему-то засмеялась... Перед вечером она принесла лепеху домашнего сыра, спички, хлеб и ножницы.

– Надо будешь немножко стригать тебя, – сказала она.

Позже, с годами, я заметил, что в лагере волосы отрастают быстрее, чем на воле. За четыре месяца плена у меня образовались косы, они спадали на плечи и на концах закручивались кольцами. С боков, возле ушей, я подстригся сам, а с затылка помогла Марите. Я стоял на коленях в проходе между овсом и горохом. Через щели ворот в глаза били узкие лучи закатного солнца, и то ли от них, то ли от безопасного прикосновения чужих рук я зажмурился и мог простоять так ночь и еще день. Марите сказала, что, наверное, я сердитый человек, потому

что волосы у меня как «желез», что поэтому я и не заплакал вчера там, в лесу. Я сказал, что над мертвыми не могу плакать, я видел их очень много.

– Над свои друзья надо плакать! – сказала она.

– У меня нету слез, – сказал я. Тогда она заплакала сама и ушла из сарая, а минут через двадцать принесла бутылку молока, старенький брезентовый плащ и опять хлеб и сало. Это ее деяние было для меня как сама Родина, куда я стремился, и я не ушел этой ночью. Я не ушел на вторую и на третью ночь. Каждый вечер Марите приносила мне еду и окликала шепотом:

– Кузма-а, ты жива-ая?

Я не поправлял ее и не объяснял, почему мне надо говорить «жив»: так было лучше и нужнее сердцу...

Ушел я на шестые сутки. Стоял сентябрь, но было тепло, как в середине лета. Марите проводила меня до леса и объяснила, как перейти вброд речку.

– Свиданья! – сказала она и не стала ждать, что я отвечу.

Потом я не раз приходил на хутор Пабальве. Я не мог задерживаться в нем больше суток, потому что меня ждали в партизанском отряде. Там все знали, куда я хожу, и я знал, что все полтораста бывших военнопленных хотели тогда быть в охране хутора.

За два года Марите прислала мне на Север сто два письма и четыре посылки – две новогодние и две майские. В них был знакомый продолговатый хлеб, знакомое сало, знакомые лепехи домашнего сыра и еще мак, сухой, в головках. Почти в каждом письме она спрашивала, куда я поеду, если меня «отпускают». Я не отвечал ей на это, потому что не знал, когда меня освободят и куда мне можно будет ехать. Наша переписка временно прекратилась после того, как начальник лагеря разрешил мне обращаться к нему со словом «товарищ», а не «гражданин»: мне хотелось жить у себя на родине, и чтобы это «у себя» оказалось неожиданным и родным домом Марите.

За два месяца я побывал у сорока кадровиков. Большинство из них были в стареньких кителях без погон и в новых фуражках. Это были смелые люди, разгромившие фашизм на Земле, но меня, своего, они боялись...

И я написал Марите, что мне некуда деваться. Ответ до востребования я ждал в северном портовом городе. «Надо поезжать скорей Литва», – написала Марите, и через неделю, летним вечером сорок седьмого года, я был на знакомом хуторе.

– Кузма-а, милая! – прошептала Марите, оглядев мою ватинку, котомку и валенки. В ее глазах ничего не было радостного, и она спохватилась и сказала:

– Тебе тюрьма как гусак вода!

Хорошо, что она сказала это. Я ей поверил, и прилипший было к моему сердцу лагерный страх перед жизнью развеялся к чертовой матери, – мне было легко и отрадно, хотя я не знал, как жить и что делать на хуторе.

Мы выпили с отцом Марите пол-литра самогона, после чего он сообщил, что бункер для меня готов.

– Можно искать сто лет хоть своя, хоть чужая милиция!

Старый лесник говорил по-русски не лучше дочери. Я показал ему справку об освобождении, но он, видно, не поверил сразу гулаговской бумажке, потому что дважды еще за вечер напоминал о бункере...

Если человек захочет вторично родиться на свет божий, то пусть ходит после лагеря в крошечную деревенскую баню, пахнущую березовым листом, жаркую, как ад. У этой бани должна быть дырявая крыша, тогда в ушате с водой будут отражаться звезды; и чтобы вокруг бани осторожно-стерегуще ступали легкие девичьи ноги; и чтобы бывшего каторжника то и дело окликали протяжно и застенчиво:

– Ты жива-ая?...

Спал я на сеновале в сарае: подо мной была чистая новая простыня, а в головах – подушка, большая, мягкая, одна. Ворота Марите заперла на щеколду, и сама осталась там, наруже.

– Ну иди на минуточку ко мне! Ну, пожалуйста! – просил я.

– Не-е, ты моя хитрая Кузма... Без свадьбы сарай ночью страшна! – пела она и смеялась.

Утром она повела меня в контору лесничества наниматься на работу. Идти надо было далеко и все лесом и лесом. Я не верил в благополучный исход Маритиной затеи, но это не мешало мне видеть первозданную красоту вольного летнего мира, и «чужие» и «свои» лагеря в нем казались мне собственной выдумкой.

Лесничему – маленькому чистому старичку-литовцу – Марите сказала обо мне по-русски:

– Это моя муж Кузма... Невинно тюрьма сидела.

Лесничий встал и поздоровался со мной за руку. Я отдал ему гулаговскую справку – единственный свой документ, и часа полтора отвечал на вопросы о Севере.

На хутор мы вернулись поздно вечером. Марите была в венке из ромашки и кукушкина льна. Я его сплел перед тем, как она стала в дороге моей женой...

По работе я подчинялся тестю. Я ходил по его участку и оголял от коры комли сухостойных и больных деревьев. После мы их валили и складывали в штабеля. Платили за это немного, но аппетит на хлеб и сало нагуливался порядочный.

Тут я и написал свою первую повесть. Нет, не эту и не эту. Та была меньше. Та была о плене, и в ней не величался Сталин. Ни разу. В рукописи было пять ученических тетрадей. Марите сшила их суровыми нитками – одна к одной. Стояла уже глубокая осень, и для того чтобы все было ладно, чтобы все сошлось у нас на одном хорошем, мы послали повесть в московский журнал с мягким осенним названием. Ответ пришел зимой. На девяти страницах рецензент с надзирательской фамилией Матов злобно глумился над тем, о чем я писал. Пленных он называл предателями, а меня Кузьмой: видно, корень моей фамилии пугал его и ярил.

– Она что – дурак? – спросила Марите о рецензенте. Тогда я разъяснил ей, что мужчине надо говорить «он», что я не Кузма, а Кузьма, и это пора ей знать!

– А может, он совсем не мужчин! – заплакала Марите, а мне впервые стало стыдно за свое ракирянское имя. Я сжег рецензию и к весне написал партизанскую былинку. Я опять рассказал о том, что знал, видел и помнил, и мне нечем было заменить пленных. Мы сшили пять тетрадок и снова надолго покинули в мечтах хутор, поселясь в каком-то голубом веселом городе, в маленькой голубой комнатке, но с отдельной кухней – так хотела Марите. Я работал в этом городе шофером на «Победе», а она училась в русской вечерней школе – этого хотел я.

Тетрадки вернули нам в середине лета. Рецензент был другой. Героев моей повести он назвал «беспаспортным сбродом, которым нельзя восхищаться». Я все понял и стал хлопотать о собственном паспорте. Помог мне лесничий. При заполнении трудовой книжки он посоветовал скрыть плен, а лагерь оставить, но я сделал наоборот – мы не могли придумать вину, за которую я «отбывал». Большой нарядной печатью с изображением дубовых листьев вокруг герба лесничий закрепил в моей прошлой судьбе четыре месяца плена, полтора года партизанки и три года работы мастером лесонасаждения. По его мнению, я вполне мог быть хорошим мастером лесонасаждения, поскольку война не дала мне закончить Московский пединститут.

Тем же летом мы перебрались с Марите в Вильнюс. Там я написал за зиму пять рассказов, послал их в разные журналы, и в разное время рассказы вернулись назад. Тогда Марите сказала – она училась в русской вечерней школе, а я возил на «Победе» замминистра лесного хозяйства, – что я не тем методом пишу. В этом все дело. И через год я написал вот эту книгу, а потом эту...

Мы с дядей Мироном выпили по колпачку без «побудем живы». В бутылке еще кое-что оставалось, но дядя Мирон заткнул пробку и распорядился ехать домой. Я развернул машину и

поехал в Ракитное так, как ездят шоферы в автоинспекцию после аварии – покорно, медленно и молча, – и дядя Мирон сидел как автоинспектор, у которого просить права бесполезно. Но на полдороге он сказал:

– Ну, ладно. Что было, то было. Что ж теперича делать! Как говорили в старину, нужда придет – стала не стала цена, а продавай!.. Другое теперь скажи: жена-то как? Ничего себе?

– Ничего, – сказал я.

– Марите – это Манечка по-нашему?

– Маша.

– Ну-ну. А чего же не привез поглядеть? И детишки есть?

– Сын, – сказал я.

– Ишь ты! Как звать?

– Костиком.

– Молодчина! – сказал дядя Мирон. – Сколько ж ему?

– Седьмой год.

– Молодчина! Так им и надо!

– Кому? – спросил я.

– Ну... мало ли!

Я не понял, кого он имел в виду – надзирателей, кадровиков или рецензентов, но спросить об этом не удалось, потому что впереди справа показались огни Ракитного, и дядя Мирон сказал:

– Видал? Третий год уже. А ежели с бугра из-за речки глянуть, то прямо как город!

Реденькая цепочка столбовых лампочек ломано убежала в конец невидимого села, разоряя в моем воображении привычный и давний облик Ракитного. Я не хотел, чтобы оно было похоже не на себя, и сказал:

– Керосиновые лампы лучше. Поэтичнее...

– Да провались они пропадом! – по-бабьи тоненько воскликнул дядя Мирон. – Слепня одна, а тут... Говорю ж тебе: ежели глянуть ночью с бугра, то город – и все!

Ему явно хотелось глянуть со мной на Ракитное из-за речки – село сидит окнами туда.

– Давай переждем и глянем, – предложил я. – Гать цела?

– Полагалось бы теперь глянуть! – вождельно сказал дядя Мирон. – Да придется, видно, отложить на другой раз. Дома, поди, нас ждут... Нет, в другой раз!

Возле Черного лога мы свернули на еле приметную узенькую дорожку. Я бы ее не заметил: раньше тут пролегал широкий проулок, а теперь он был взрыт под огородные сотки, наверно. Я ехал и ждал: вот-вот фары нащупают мироновский сад, акациевый тын и скотные воротца на проулок, но дорожка все тянулась и тянулась посреди рыхлого, хорошо разработанного чернозема, пока мы не оказались на улице села.

– Налево давай и во двор! – скомандовал дядя Мирон, но я и сам уже знал, куда давать, потому что увидел белую знакомую хату, а рядом с нею – незнакомую, новую, до половины накрытую розовой черепицей. Прямо во дворе, между старой и новой хатами, был разбит квадратик палисадника, огороженный железной сеткой. В квадратике сидели кусты крыжовника и несколько штук крошечных побеленных яблонек. В глубине двора стоял прежний, выросший в землю сарай, и под светом фар, ударившим в его плетеные воротца, там захлопал крыльями и запел петух.

– Обмишурился дуралей! – засмеялся дядя Мирон. Об изгороди палисадника он сказал: – Не то что скотина, а даже пискленок не пролезет...

Новая хата была еще не готова, там не жили, а мне бы легче ступилось в нее, там бы смелее и лучше встретился с теткой. На крыльце старой хаты я остановился и прислонился к косяку дверей. Я хотел скрыть от дяди Мирона свое тревожно-нелегкое чувство и стал оглядывать улицу, но он все понял и закричал на меня шепотом:

– Ну вот что: не дури! Домой ить приехал!..

Нас и в самом деле ждали, – в хате было полно народу, и я сразу же узнал тетку Миронику, постаревшую, тоже умалившуюся, но с прежними колюче-черными глазами. Она чинно подошла ко мне, остановилась в шаге и сказала:

– Ну здорово ж тебе!

Тетка поклонилась и не вынула рук из-под фартука, и я так же, как и она, поклонился ей поясным поклоном... Всем остальным я жал руки и что-то говорил, и лишь после этого опознал Андрюху Захарочкина, сватова Шурку и принаряженных внуков Петечки бурдастого. Один из них был с гармошкой. Он дольше всех задержал мою руку, здороваясь. Были еще двое или трое парней, и на этом кончался мужской состав гостей. Зато баб и девок набилось десятка полтора. Они жались в одном месте возле дверей. Я никого из них не помнил и не знал. Дядя Мирон, успевший в чулане надеть новые кирзовые сапоги и голубую сатиновую рубашу навыпуск, повел ко мне застыдившуюся немолодую женщину в шелковом цветастом платье.

– Это ж Надичка, – сказал он. – Не признаешь? – У нее были теткины черные глаза.

– Ну как же! – вспомнил я и обеими руками пожал круглую и потную ладонь своей двоюродной сестры. Надичке было лет девять, когда я ушел из Ракитного.

– За Кирюшкой Останковым была, что на том конце жил, – пояснил дядя Мирон. – Может, помнишь? Не вернулся с позиций, а она вот с дочкой у нас...

Тут нужны были гостинцы. Или хотя бы приличные брюки на мне, потому что тетка Мирониха, хлопотавшая у стола, раза два окинула меня пытливо-настороженным взглядом. Я вышел к машине, переделся и захватил бутылки с коньяком, консервы и корейку.

– Ну вот что, – проговорила тетка, как только я вошел в хату, – милости просим кого за стол, а кого и за ворота.

Она сказала это полушутя и только бабам, но, видно, каждая из них знала, что ей тут причиталось, и вышли почти все.

– Люди к тебе пешком, а ты к ним все на карачках, – ядовито, шепотом сказал дядя Мирон тетке и не стал ждать, что она ответит, повернувшись ко мне. Но тетка обернулась ко всем нам, оставшимся в хате, и расчетливо-певуче сказала:

– Гость, Петрович, невольный человек, на чем посадят, на том и сядет.

Внуки Петечки бурдастого слаженно засмеялись и ободряюще подмигнули мне, – дескать, ни хрена то не значит, все равно зараз врежем! Кроме коньяка, врезать было что; каждый из парней поставил на стол по бутылке первача. Как икону – на протянутых вперед руках, – тетка вынесла из чулана цельную ковригу хлеба и бережно посадила ее меж бутылок. Дядя Мирон принес тарелку толсто нарезанного сала, Надичка – блюдо студня, и снова тетка – глиняный горшок неизвестно с чем. Там могло быть молоко или розовая простокваша-топлюшка. Но мог быть и квас для студня. Такие небольшие горшки в Ракитном спокон называют махотками.

Ими же отмеряют муку, когда дают друг другу взаймы...

Тогда я оглядел хату, как оглядывала меня до этого тетка Мирониха.

Ракитянское тут перемешалось с городским: земляной пол и ковровая дорожка; косоногие скамейки и широкий дерматиновый диван; загородивший окно радиоприемник и деревянная солонка времен доколхозных веселых ярмарок. Абажур над электрической лампочкой был самодельный: на обечайку решета тетка – конечно, тетка! – натянула полинялую розовую ветошу, наверно, старую кофту свою, чтоб не выбрасывать. Ложе дивана горбилось туго и выпукло, к нему, видно, не прикасались, и я сел на скамейку. Меня начал обволакивать «лагерный спрут» – цепенящее окаменение. Тогда я могу только молчать и ничего не хотеть и не видеть, и людям лучше не видеть меня.

Дядя Мирон налил восемь полустаканов самогонки и пять рюмок коньяку – по числу мужчин и женщин – и, подойдя ко мне, шепотом сказал: «Не дури!», а в голос: «С приездом!»

Выпили все, кроме тетки. Выпили степенно, бережно и чего-то ожидаючи, – наверно, в старину причащались так, и сразу же стали закусывать жесткой и кислой городской корейкой, а не салом. Оно лежало в синей тарелке, и я бы умолол его в одиночку, если б тетка отняла руку от своих скорбных усохших губ. И тут дядя Мирон стал торопиться. Под его «не дури!» для одного меня и «побудем живы!» для всех мы выпили еще и еще. Я привстал и обеими руками захватил махотку. Там оказалось холодное как лед топленое молоко с пенкой. При одобрительных и уже пьяненьких напутствиях я выпил молоко через край, а махотку поставил на угол стола возле своего локтя. Я установил ее правильно – она непременно должна была упасть при малейшем колебании стола. Но стол дрожал и колыхался, а махотка не падала, и тогда я спихнул ее локтем на виду у всех. Она была еще в воздухе, когда дядя Мирон поднялся со скамейки и под хрясь черепков приказал внуку Петечки бурдастого:

– А ну, вжарь комаря!

Тот тоже встал – сидя нельзя было в тесноте развернуть мехи гармошки – и сначала вывел какую-то замысловатую руладину, чтоб размять и разогнать пальцы. Дядя Мирон стоял на середине хаты, выжидая и шевеля носками сапог, и как только гармошка сыпанула «камаринского», он пригнулся, выбил ладонями на голенищах чечетку и, раскинув руки будто для обнима всех, четко и в лад коленам плясовой не пропел, а проскакал, глядя на одного меня:

Ай да дедушка лысенький,  
Запасал муку-высевки!  
А за что ж его высекли?  
За муку да за высевки!

Присказка была с «бородой», я знал ее с детства, но дядя Мирон подмигивал мне плутовски, намекаяще-откровенно и весело. Наверно, он увидел, что я все понял и принял так, как ему хотелось – «не дури!» и, подплыв в плясе к тетке, тоненько проголосил ей почти на ухо:

Не по-старому закон повела!

Полну хату женихов навела!

У тетки оттаяли глаза, и она засмеялась со всеми вместе. Застолье нарушилось. На середину хаты выбежали Надичка и Андрюха Захарочкин. Оттиснутый ими к дверям чулана дядя Мирон снова хитровато подмигнул мне, и я кликнул, чтобы он скорей шел ко мне.

– Чего ты? – тревожно спросил он и взглянул в сторону тетки.

– Я люблю тебя! – сказал я. – Я всю жизнь любил тебя! Давай поцелуемся!

– Это давай, это сколько хочешь, – сказал дядя Мирон, и мы стали целоваться истово и горячо.

– Ну будет, будет вам миловаться! Ишь, дорвались, – ревниво, без осуждения сказала тетка. Я подошел к ней, обнял и поцеловал в глаза. Она всхлипнула и села на диван, а я стал перед нею на колени и заплакал, и дядя Мирон заплакал тоже.

Гармошка унялась. За столом насупились и замолчали.

Потом мы еще пили, плясали и целовались. Спать я улегся на диване с дядей Мироном – так захотел он сам...

Может, только в Ракитном звенят потемки в хатах, когда засиневаются окна, когда все, кроме слушающего, спят. Звон похож на ветровое касание балалаечной струны, если знать, что такое балалайка. Но, может, это не во всех хатах так. Может, певучих тут только две – наша да вот дядина... Дядя Мирон спал на спине, умиротворенно покоя руки на груди, и я тихонько перелез через него, благолепного, лысого и чистого, как младенец. Дверь я открыл неслышно и в сенцах на лавке нашел то, что мне было нужно, – ведра. Колодезь был внизу, под горкой. Оттуда я должен увидеть свою хату, если она цела.

Простор, в который я вышел, был устрашающе широк. Раньше от улицы к речке – справа и слева, в оба конца села – сбегали огороженные сады и конопляники. Теперь тут была целина, степь. В рассветной просини утра степь чуть-чуть розовела – пробивалась молодая трава. Под бугром залегал еще ночной полумрак, и голая речка блестела там сизо и холодно. За речкой, сходясь где-то с небом, полого возвышались черные поля. Это оттуда дядя Мирон хотел вчера взглянуть на Ракитное.

Колодезь вековал на прежнем месте – тот же дубовый, позеленевший от времени сруб, то же дубовое корыто для водопоя лошадей, та же окостеневшая орясина журавля. И ни следа от купы темных вязов. При мне их ветки шатром нависали над колодцем, и летом невозможно было пройти мимо, чтобы не «ухнуть» и не плюнуть в студеную преисподню. Плюнешь – и ждешь, когда прилетит к тебе стеклянное «чуль», и не услышишь и не увидишь, а только почувствуешь задницей обжигающий шлепок чьего-нибудь коромысла...

Мне надо было припомнить тут многое – важное и неважное, – потом достать воду, поставить ведра на козырек сруба и снова что-либо припомнить. Любое. Мне надо было стоять спиной к селу и оглянуться на него в самый последний момент, когда уже нельзя будет не оглянуться и не увидеть свою хату. Но может, ее давным-давно нет и я зря тут ворожу с собой? И что лучше: чтобы она была цела или чтобы ее не было?

Этого я не знал...

А хата стояла. Как нарисованная. Как тогда. Как постоянно в моей памяти. Хаты всегда похожи на хозяина. Как носит хозяин шапку – прямо, криво, мелко или глубоко, так сидит на хате соломенная крыша; как смотрит хозяин – робко, насмешливо, весело или грустно, так глядится окнами его хата. Наша всю жизнь была похожа на маму. Мать носила платок, сдвинутый на лоб, и поветь хаты нависала над коником. Мать всегда смотрела на людей с виноватым прищуром, и в окнах хаты было это выражение...

Она топилась – единственная в такую рань на всем кутке.

В дядином палисаднике зацветали яблоньки, и на них в просвет между сараем и штабелем черепицы косым лучом било встающее солнце. Огромный лилово-вороной кочетище стоял на «Волге» и пел. Клавка – Надичкина дочь – издали шугала петуха, но он не хотел покидать этот нечаянно очутившийся тут кусок неба, гремел по нему шпорами и пел, и из его разверзтого клюва живым цветком вытекал радужный пар.

– Не надо, – сказал я Клавке, – пусть покрасуется.

– Так он же, дядь Кузь, видите, чего наделал, дурак такой!

– У меня есть тряпки, – сказал я, – пусть покрасуется.

Клавке надо было купить подарок. Платье, например. Под цвет ракирянского неба, потому что глаза у девки невообразимые – янтарные. И Надичке надо подарок. И тетке тоже. И дяде Мирону.

И тому, кто живет в нашей хате...

Мы слегка опохмелились, и я повез дядю Мирона на мельницу.

– Припаздываю, – сказал он.

Я поднажал и на выгоне, недалеко от Черного лога, настиг вчерашние дрожки. Муругий жеребец шел боком, жируючи, норовя все забрать влево, и я стал обгонять его справа. В дрожках, оперев ноги в грядку, напряженно прямо сидел тот лобастый, что плевался вчера на побитые зеленя. Он искоса взглянул на машину и вытянул жеребца вожжиной. Я отстал – впереди на обочине завиднелась тракторная колея – и, вырулив на дорогу, во второй раз начал обходить дрожки. Лобастый оглянулся и пустил жеребца галопом. Дядя Мирон азартно раздул ноздри:

– А ну, кто кого!

На всякий случай я забрал покруче от дороги и, когда дрожки оказались сбоку, сбавил газ. С полкилометра мы ехали вровень, как спаренные, – было невозможно оторвать глаза от красоты и мощи летящего жеребца, крохотной колесницы, от седока. Он стоял теперь на коле-

нях в передке дрожек и размеренно крутил над головой петлей ременных вожжей. Я бы уступил ему, обязательно сдался; я даже ждал: вот-вот поперек выгона протянется борозда или канава, – нельзя же дать этой прокатно-бессердной коробке попать вольный дух живых, – но дядя Мирон, тоже привстав на сиденье, все время выкрикивал:

– А ну, кто кого! А ну, сгреб вашу...

Я вырвался вперед, и через минуту мы оказались у голенькой аллеи, что вела на Покровский двор.

– Давай подождем его тут, – сказал дядя Мирон. Вид у него был довольный и вместе с тем смущенно-виноватый.

– А кто это? Председатель? – спросил я.

– Не, тот на «Победе» фугует. Это Михаил Иваныч. Бригадир нашей восьмой. Да ты должен знать его. Егораку помнишь? Ну что в пуньке возле речки жил?

Дед Егорака и Михан... Еще бы я не помнил их! Деду, наверно, шел тогда девяностый, а Михан был моим ровесником и круглым сиротой. Пунька – это амбар. Она стояла на возвышенном мыске, поросшем раakitником, у самой речки. Нигде – ни в чьей-нибудь хате, ни в кооперации – не пахло так хорошо и отрадно, как в Егоракиной пуньке: зимой и летом ее стены и потолок были увешаны пучками засушенной травы, ветками дубов и вязов. В половодье пуньку отрезало от села и от всего мира. Тогда было страшно глядеть с бугра на мысок, – он стремительно несся вместе с пунькой и раakitником навстречу течению реки. Несся и оставался на месте. Я первым навещал пуньку после спада воды. Первым. Наверно, кроме меня, одному богу было ведомо, чем питались дед Егорака и Михан, и тут нельзя было ничего поделаться – один стар, другой мал, а кругом голодуха. И я был им свой...

Каждый год по веснам дед Егорака распухал – отекали и стекленели ноги, руки и лицо. Мы с Миханом кормили его тогда вареными печерицами – так называли у нас шампиньоны, их никто, кроме нас, не ел, потому что росли они черт-те где – вьюнами, гольцами и будто бы съедобной травой свербейкой. К середине лета дед Егорака оживал, а к осени совсем поправлялся: он делал нам с Миханом луки из подсушенной акации и стрелы из краснотала. Для наконечников я крал у матери большие «цыганские» иголки. Забрешему в конопляники пискленку надо было угождать в голову или шею. В другое место стрела не брала, и пискленок уносил иголку...

Еще бы я не помнил деда Егораку и Михана! В тридцать шестом году под спад лета в Раakitное прибилося кино. Ставили его под открытым небом, прямо на стене чьей-то хаты. На второй день кино перебралось в соседнее село Соломыково, и дед Егорака, Михан и я подались туда. После мы были в Рожновке, в Спасском и еще в трех селах. Показывали «Чапаева», и мы все ждали: не выплывет ли он на этот раз из реки Урала?

Не выплыл...

Мы вышли с дядей Мироном из машины и закурили. Михан подъехал шагом, сидя на дрожках в прежней позе, как ни в чем не бывало.

– Ну как, Михал Иванч? – издали окликнул его дядя Мирон.

– Восемь, – хмуро ответил Михан и натянул вожжи.

– Чего «восемь»? – обеспокоился дядя Мирон.

– А чего «ну как»? – без улыбки спросил Михан, искоса поглядывая на меня. Я подошел к нему, протянул руку, и мы разом сказали одно и то же:

– Не узнал тебя вчера...

– А я сразу признал, – торопливо сказал дядя Мирон. – Чего ж не заглянул вечерком?

– А ты покликнул? – расстановочно спросил Михан.

– Да тех чертей тоже никто не заманивал. Пришли – и все!

– Вы ж до этого на мельнице пили! Мне Кубарь доложил! – укоряюще сказал Михан.

– Там всего-навсего по одной лампадке пришлось, – махнул рукой дядя Мирон. – А вот вечером дома выпили. Это верно. Зря ты не заглянул... На-кась вот докури. Хоррошие сигаретки. Из самой аж Литвы...

Что-то с дядей Мироном было неладно. Что-то он излишне мельтешился и семенял около дрожек, растопыривал локти, оттирая меня от Михана, не давая нам поговорить. Михан плохо слушал его. Оглядев машину и мой костюм, он не очень весело сказал мне через голову дяди Мирона:

– Ну и вымахал ты! А был меньше меня...

– В отца пошел, – суетно подхватил дядя Мирон. – Брата Гришаку всю жизнь сажнем дражили. Бывало, сидит верхом, а ноги под пузом у лошади волокутся... А однава едет, понимаешь, в кобеднешних портках и едет, а мерин возьми и...

Что-то с ним было неладно. Он все больше и больше колготился, беспокойно перехватывал наши с Миханом взгляды и без умолку говорил и говорил о моем отце. Я подумал, что это у него от сознания виноватости перед начальством за выпивку в рабочее время, – Михан, видать, крутоват был характером, если принять в расчет нашу с ним вчерашнюю встречу в поле.

– Вот что, Михаил Иванович, – решил я выручить старика, – сейчас мне надо проскочить в Медведовку, а вечером давай встретимся. Добре? Ты где живешь?

– Как где? Да в твоей хате! – сказал Михан с осиплой обиженностью в голосе, будто уличил меня в чем-то немужском и нечестном, когда надо сказать «эх ты, а я-то думал...». Он нагнулся, и я увидел, как побурело у него широкое плоское лицо. Эту его внезапную растерянность я мгновенно связал с образом тетки и непонятным мне поведением дяди Мирона и сам покраснел до испарины: я подумал, что у них какая-то тяжба с Миханом из-за моей хаты. Я настолько был уверен в этом своем предположении, что боялся взглянуть на дядю Мирона, но он исподтишка толкнул меня в бок и вполушепот сказал Михану:

– Взаправду не знает, а я позабыл сказать. Так что... никакой тут оказии нетути. Живешь и живи... А вечером давайте встретимся. Ты зараз подвези-ка меня на Покровский. Я только вот захвачу в машинке кое-что...

Он буквально подталкивал меня к «Волге», и я не стал оглядываться на Михана. Я ждал трудного и ненужного объяснения с дядей Мироном, – ведь в машине он ничего не забыл. Я сел на свое место, а дядя Мирон зашел справа, просунул голову в полуоткрытую дверцу и, одергивая на мне пиджак, сказал:

– Сгорел со стыда человек!

– А чего это он? – спросил я.

– Ну как же. Жил-жил вроде бы в казенной хате, а тут хлоп тебе – хозяин явился... Ты, гляди, не обидь его чем-нибудь. Мужик он хороший, достатку большого нетути, а детишек настругал как грах Покровский.

Дядя Мирон залился тихим и озорным смехом, как маленький, и я тоже засмеялся, но не этому его сравнению Михана с графом, а другому – своей внезапной и беспричинной радости.

– Чудаки вы! – сказал я.

– Это верно. Все мы люди... А ты зачем в Медведовку-то?

– Заправиться. Через час вернусь.

– Ага. Ну поезжай... – Он пошлепал ладонью руль и попятился было из машины, но тут же притиснулся ко мне и проговорил на ухо: – Ты вот чего... Ты не признавайся тут, будто служишь писателем, слышь? Коли кто спросит, скажи, что по ученой линии насчет леса, дескать. И машинка, мол, своя... Ладно?

Я молча кивнул.

...Косьянкин мог ехать как и тогда, и мы бы встретились и узнали друг друга. Нет, не на выгоне, а чуть подальше от Ракитного, там, где объехал меня вчера Михан. Интересно, как агрономы называют след колеса в зеленях? Линейной резаной раной?... Косьянкин должен

ехать в той же бричке, на белых лошадях. Тогда я загорожу ему дорогу, выйду из машины и, может, после этой встречи закончу свою повесть...

За ночь след колес михановских дрожек помелел и затянулся встающими зелеными. След заживал. Я остановился возле него, вышел из машины и ошутил, увидел и услышал все сразу: текучую прохладу утра; искристо лучащийся солнечный диск над невидимой Медведовкой; серебряную нитку жавороночной песни, спиралями вьющейся в поднебесной шири; радужное сияние окропленных росой зеленей; диво живой могучей тишины, в которой зарождался огромный новый день; созревание в сердце бессловесного гимна в благодарность кому-то за то, что все это есть и все это мое!.. Мысленно, чтобы ничего тут не осквернить и не нарушить, я сказал тени Косьянкина всего лишь одно слово – наше, ракитянское, – и до самой Медведовки пел в машине наши же, ракитянские, частушки про деда Кузьму и козу, горку и черемуху, валенки и завалинку...

Если б только кто послушал эти частушки!..

Вывеска на медведовском сельмаге была новая, не та, что я помнил. Вот тут, метрах в ста от него, тогда уже колобродил, туманил голову, запах хлеба. Тот хлеб назывался коммерческим, и я до сих пор не знаю, что это значит. Вот тут, возле угла пожарного сарая, где я сейчас сижу в машине, тогда оканчивалась хороводная очередь.

– Хвиль, а Хвиль! Ну дай же ради Христа, а?

– Хвиль!

– Хвиль!!!

Это все вразнобой, в костоломной давке, в ненависти, любви и вере к кому-то, и я, тоненький, как балалаечный гриф, кричал, пожалуй, пронзительнее всех и тоже: «Хвиль!», потому что все величали его так в надежде получить клеклую кирпичину хлеба за деньги, без сдачи. А он, завмаг Филипп Женеев, был сыто невозмутим и сонно припухл, и глаза у него были круглые, серые и бессмысленные, как шляпки новых гвоздей.

Теперь в сельмаге пахло разным и сложным – сыромятной кожей, скобяным товаром, камсой, ситцем, ванилью. Черный и белый хлеб лежал на своем месте – в левой части магазина, и я не ощутил его запаха. Постаревшего, обмякшего Филиппа Женеева я узнал с порога – те же глаза, та же сонливость и безответная сытость. Он стоял за прилавком в бакалейном отделе, поближе к свету и хлебу, а я прошел в промтоварный затененный угол. В магазин изредка заходили покупатели и знакомо здоровались с Женеевым. Он молча кивал им. Он кивал почти незаметно, и не вперед головой, а вбок, как это делают, когда не соглашаются на просьбу.

И я понял, что Женеев не забыл тот коммерческий хлеб и в лицо помнит всех, кто стоял за ним в очереди, и что у меня не прошли к нему, к Женееву, тот детский трепет, смятение и удивление его всесильностью; в моем сердце все еще жила ненавистная готовность крикнуть ему: «Хвиль!» Я закурил, зная, что в магазине курить нельзя, и, когда Женеев заметил это, повернулся к нему спиной. «Ну давай, давай! Скажи мне что-нибудь», – втайне просил я Женеева, но он молчал и не двигался с места. Тогда и я увидел эти повешенные комплекты. Их было двенадцать, и висели они спинками ко мне на крючьях, вбитых в невысокий потолок, – фуражка, телогрейка, свисающие из-под нее молескиновые штаны, оттянутые книзу юхтовыми ботинками на резиновой подошве, и нельзя было понять, чем они крепились к штанам и почему штаны пузырились в коленках. Я вторично пересчитал комплекты – их было двенадцать – и обернулся к Женееву. Он стоял, курил и подозрительно смотрел на меня.

– Подите сюда, товарищ Женеев! – сказал я. Я сказал это неожиданно для себя и для него, и он пошел по-за прилавком, торопясь и чего-то пугаясь, гася пальцами папиросу.

– Слушаю вас, – сказал он.

– Уберите это! – показал я на комплекты.

– А что такое? Маркировка неправильная?

– Снимите и разложите все отдельно. На полках, – сказал я, и он молча и нелегко полез на прилавок.

После, когда он управился, я купил телогрейку, большой коричневый полушалок, модные остроносые туфли сорокового размера и четыре метра штапельного полотна цвета моей прокатной «Волги». Михану я купил металлический портсигар, украшенный орлом. Еще я купил три бутылки «Ерофеича» и две буханки хлеба.

– Это не коммерческий? – спросил я у Женеева.

– Обнаковенный, – буркнул он.

Сдачу за хлеб я пересчитал дважды, и когда уходил, Женеев дважды сказал мне: «До свиданья».

Плотников на срубе не было, но я остановился на вчерашнем месте и стал ждать: мне не хотелось везти в Ракитное муторное настроение от встречи с Женеевым.

За ночь на гривке канавы подросли лопушки. В их морщинистых зеленых ладошках, обернутых к солнцу, скопились лучащиеся монисты росы. На восковом стропиле сруба сидел скворец, сверкавший, как кусок антрацита. Он пушил хвост и крылышки, разбойно верещал и пружинисто скакал – пять скачков вправо, пять влево. Он проделывал это до тех пор, пока рядом, на отбитое им у невидимого соперника место, не села маленькая, крапинно-серенькая скворчиха, и, упоенно свистнув и непостижимо кувыркнувшись в воздухе, скворец коротко, на секундный миг слился с нею прямо на виду целого мира.

– Жулик! – сказал я ему и стал разворачивать машину, – ждать плотников было уже не обязательно...

Какая бы ни была радость – маленькая или большая, тайная или открытая, – но она, как жених невесту, обнимает сердце человека, и сердце сперва замирает, а затем торопится сообщить телу о наступлении в нем праздника, и тут не каждый справляется со своими руками: им сообщаются юная порывистость и резвость.

Это, может, и было причиной тому, что моя «Волга» прочно засела в канаве. Там под слежавшимся пластом выветренного мусора оказался сизый крупитчатый снег, и задние колеса машины, пробуксовав, зарылись в него и провисли, – диффер улегся на кромку дороги. Я промерил палкой глубину канавы, влез на гривку к лопушнику и сел: надо было ждать той неведомой минуты, когда я выберусь отсюда с помощью грузовика. В неминуемость этого сокровенного момента верует каждый порядочный шофер, застрявший в канаве, и дело лишь в спокойном ожидании, а бесконечным оно никогда не бывает. Я сидел и смотрел на «Волгу» – беспомощно сияющую безножку, смешно задрывшую нос из канавы; она была похожа на смагдавого жука, когда его чуть-чуть щелкнешь пальцем. Тогда он замирает, оседая задом на землю, и может сидеть так, притаясь, минут двадцать. Попробуй не щелкнуть его еще и еще раз! Я сидел и смотрел на «Волгу», а по проулку к центру Медведовки и ко мне шел и подевичьи заливисто пел «страдание» паренек в расстегнутой засаленной телогрейке:

Мой миленочек не глуп,  
Завернул меня в тулуп.  
К стеночке приваливал,  
Замуж уговаривал.

В правой руке у него болталась авоська с разноцветными пустыми бутылками. Они позвякивали и сверкали на солнце, как драгоценные камни. Поравнявшись со мной, он снова пропел тот же куплет и оглянулся. Позади него, не нагоняя и не отставая, шел другой, пожилой, медведовец в длинном синем плаще и кожаной фуражке, надетой глубоко и прямо, как каска. Она и отсвечивала по-железному.

– Посидим-подымим? – окликнул его передний на высокой песенной ноте, не переставая размахивать авоськой, и я решил, что он – «дядька» на чьей-нибудь свадьбе и телогрейка тут ни при чем. Он остановился и весело ждал, а тот, в плаще, шагнул прямо на него и, сойдясь, скрипуче сказал:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.